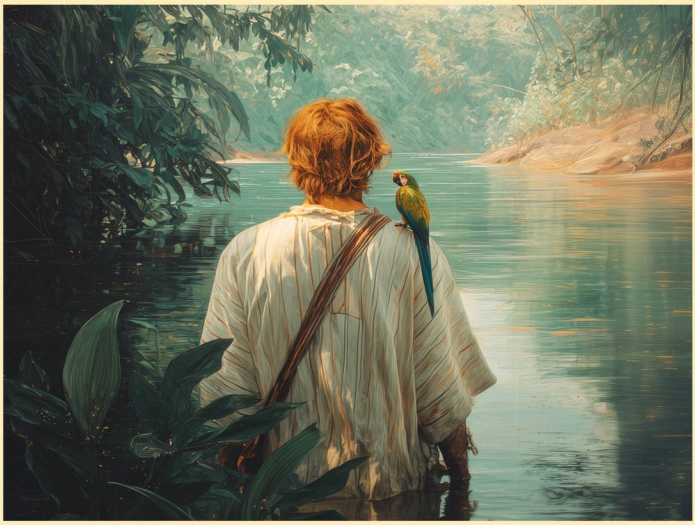

МАРИО
ВАРГАС ЛЬОСА

ГОВОРИТЕЛЬ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Говоритель

Хóрхе Мáрио Пéдро Варгас Льоса

Аннотация
Марио Варгас Льоса. Говоритель
Пролог
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Признательность

Аннотация

Марио Варгас Льоса (1936–2025) – перуанский писатель, один из выдающихся представителей латиноамериканской прозы, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года, премии Сервантеса и других авторитетных премий, член Французской академии, кавалер ордена Почетного легиона.

Если ты мачигенга, ты должен идти. Так повелел Тасуринчи. А если мачигенга когда-нибудь остановятся, им все равно придется уйти – туда, откуда еще никто не возвращался. У них нет имущества, кроме того, что можно нести на себе. Да и зачем? Ведь Тасуринчи подарил им девственный лес, бархатистые лагуны и зеркальные реки, вдохнул в них легенды и мифы и – самое ценное – коллективную память, воплощенную в таинственном Говорителе.

Марио Варгас Льоса
Говоритель

© Mario Vargas Llosa, and Heirs of Mario Vargas Llosa, 1987
© Перевод. Д. Синицына, 2026
© Издание на русском языке AST Publishers, 2026

Пролог

В середине 1958 года я впервые поехал в перуанскую сельву. Там, в домике на берегу озера Ярина, я услышал от двух американских лингвистов, супругов Снейл, о рассказчиках из народа мачигенга. Эти первобытные говорители несли свои истории через леса от поселения к поселению и тем самым поддерживали жизнь в общине, которая неминуемо раздробилась бы и распалась вследствие дальних расстояний и отчуждения, если бы не эта связующая пуповина; образ говорителей с тех пор сопровождал меня и с каждым днем все настойчивее побуждал придумать историю уже о них. Много лет спустя я так и сделал, изучив сначала обширные свидетельства фольклористов, этнологов и миссионеров-доминиканцев и побывав в деревнях самих мачигенга в верховьях и среднем течении реки Урубамба. «Говоритель» — разумеется, роман, то есть история, в которой фантазия играет более важную роль, чем память. Но любые отсылки к мифологии, обычаям и традициям этого народа, на протяжении всего своего су-

ществования сталкивавшегося с трагической жестокостью, основываются на несомненно объективных источниках.

Марио Варгас Льоса
Мадрид, 8 октября 2007 года

* * *

Посвящается Луису Льосе Урете в его безмолвии и всем кенкицатацирира из народа мачигенга

I

Я приехал во Флоренцию, чтобы на время забыть о Перу и перуанцах, но однажды утром моя горемычная страна нежданно-негаданно сама меня нашла. Я, помнится, посетил недавно отреставрированный дом Данте, забрел в церквушку Сан-Мартино-дель-Весково, потом в переулок, где поэт, по легенде, впервые увидел Беатриче, и вдруг, на улочке Санта-Маргерита, мое внимание приковала одна витрина: луки, стрелы, резное весло, кувшин с геометрическим орнаментом и манекен, облаченный в плотно сидящую кушму[1] из дикого хлопка. Но самое главное — три или четыре фотографии: именно они разом вернули мне ощущение перуанской сельвы. Широкие реки, грузные деревья, хрупкие каноэ, шаткие хижины на сваях и грядки, а на них — мужчины и женщины, полуголые, разрисованные, пристально смотрящие на меня с глянцевых снимков.

Я, естественно, зашел внутрь. По спине бегали

[1] Примечания: 1

Кушма — туника у коренных народов Амазонии. *Здесь и далее, если не указано иного, примечания переводчика.*

странные мурашки; я предчувствовал, что сейчас совершу глупость, из банального любопытства поставлю под угрозу свой тщательно выверенный и до сих пор безупречно выполнявшийся план — пару месяцев вчитываться в Данте и Макиавелли и всматриваться в ренессансную живопись в нерушимом одиночестве, — спровоцирую очередную незаметную катастрофу из тех, что время от времени ставят мою жизнь с ног на голову. Но, естественно, я зашел.

Галерея была крохотная. В единственное помещение с низким потолком, чтобы развесить все фотографии, поставили два стенда и каждый с обеих сторон заполонили снимками. Худенькая девушка в очках взглянула на меня из-за столика. Можно ли посмотреть выставку «I nativi della foresta amazzonica»[2]?

— Certo. Avanti, avanti[3].

Никаких предметов внутри галереи не выставлялось, только фотографии, по меньшей мере штук пятьдесят, почти все довольно крупные. И все без подписей, но кто-то, может, сам Габриеле Мальфатти, пояснял в тексте на пару страничек,

---

[2] Примечания: 2
Коренные жители амазонской сельвы (*ит.*).

[3] Примечания: 3
Конечно. Проходите, проходите (*ит.*).

что снимки — результат двухнедельного путешествия по амазонским землям департаментов Куско и Мадре-де-Дьос на востоке Перу. Фотограф задался целью «без демагогии и приукрашивания» передать повседневную жизнь племени, которое до недавних пор не имело контактов с цивилизацией и было рассеяно на большой территории группами в одну или две семьи. Лишь в наши дни оно начало собираться в местах, изображенных на снимках, но многие до сих пор живут в лесной глуши. Название племени значилось в испанском написании, без ошибок: мачигенга.

Фотографии в общем соответствовали намерению Мальфатти. Мачигенга на них метали гарпун с берега, подымали, прячась в зарослях, лук и целились в капибару или белобородого пекари, собирали маниок на крошечных огородиках вокруг недавно построенных деревень — возможно, первых в их истории,– врубались ударами мачете в опушку леса, собирали ветви пальм на кровлю для хижин. Женщины, усевшись кружком, плели циновки и корзины; другой кружок занимался головными уборами: вставлял яркие перья ар и прочих попугаев в деревянные обручи. Одни тщательно расписывали лица и тела краской из

дерева ачиоте, иные разжигали костры, сушили кожи, заквашивали маниок для масато[4] в сосудах в форме каноэ. Фотографии красноречиво говорили о том, как их мало, этих людей, в окружающей необозримости неба, воды, растений, говорили об их хрупкой и скудной жизни, их изоляции, их архаичности, их беззащитности. И правда: без демагогии и приукрашивания.

То, что я сейчас расскажу, — не позднейшая моя выдумка и не обманка памяти. Я четко помню, как переходил от снимка к снимку с чувством, которое в определенный момент превратилось в тревогу. Что с тобой? Что в этих образах могло вызывать в тебе подобное угнетение?

Я почти сразу узнал поляны, где высятся Новый Свет и Новый Мир — не прошло и трех лет, как я там был, — а при виде последнего панорамного снимка во мне мгновенно ожило ощущение катастрофы, возникшее, когда мы виртуозно приземлились там на «цессне» Института лингвистики, стараясь не попасть в гущу ребятишек мачигенга. Мне даже показались знакомыми лица некоторых мужчин и женщин, с кем я бе-

---

[4] Примечания: 4

Масато — напиток из ферментированного маниока в перуанской Амазонии. При традиционной форме приготовления маниок пережевывают перед заквашиванием, чтобы ускорить процесс.

седовал при посредничестве мистера Снейла. И окончательно я уверился, когда увидел на одной фотографии — я помнил этот вздутый животик, эти живые глаза — мальчика, чей рот и нос были изъедены утой, кожной болезнью. Так же невинно и естественно, как в свое время нам, он показывал камере отверстие, через которое хорошо просматривались клыки, нёбо и миндалины, отчего он становился похож на таинственного зверя.

Фотография, которую я ожидал увидеть с первого шага по галерее, нашлась одной из последних. Сразу же становилось понятно, что все запечатленное на ней сообщество мужчин и женщин, сидевших в кругу на амазонский манер — поза похожа на восточную: ноги скрещены и поджаты, спина очень прямая — и омытых слабым светом перетекающих в ночь сумерек, сосредоточено и заворожено, будто под гипнозом. Они были абсолютно неподвижны. Все лица, как бы прочерчивая радиус, обратились в центральную точку, в сердцевину круга, образованного из них, из мачигенга, околдованных мужчиной, который стоял там, говорил и махал руками. Спина у меня похолодела. Я подумал: «Как Мальфатти умудрился добиться, как ему позволили…?» Наклонился,

придвинул лицо к фотографии. Я смотрел на нее, обнюхивал, проникал в нее глазами и воображением, пока не заметил, что девушка встает из-за столика и обеспокоенно направляется ко мне.

Я постарался унять сердцебиение и спросил, продаются ли фотографии. Нет, она думает, что нет. Они принадлежат издательству «Риццоли». Оно, кажется, планирует сделать книгу. Я попросил связать меня с фотографом. К сожалению, это невозможно:

— Il signore Gabriele Malfatti è morto[5].

Умер. Да. От лихорадки. Подцепил какой-то вирус в тамошних джунглях, forse. Бедняга! Он ведь был модный фотограф, работал в «Вог», в «Уомо», в таких журналах, понимаете, снимал моделей, мебель, драгоценности, платья. Всю жизнь мечтал совершить что-то необычное, что-то более личное, вроде вот этого путешествия в Амазонию. А когда наконец поехал, и даже книжку его собирались издать, взял и умер! Что ж, теперь ей dispiache[6], но уже время pranzo[7] и

---

[5] Примечания: 5
Синьор Габриеле Мальфатти умер (*ит.*).

[6] Примечания: 6
Жаль (*ит.*).

[7] Примечания: 7
Обеда (*ит.*).

нужно закрывать галерею.

Я поблагодарил. Прежде чем вновь выйти во Флоренцию, навстречу ее чудесам и ордам туристов, успел бросить последний взгляд на ту фотографию. Да. Никаких сомнений. Говоритель.

II

У Сауля Суратаса было темно-лиловое, цвета винного уксуса, родимое пятно, покрывавшее всю правую сторону лица, и рыжие нечесаные волосы, похожие на щетину швабры. Пятно не постеснялось залезть на ухо, на губы и на нос, извергалось на них, пухлое и жилистое. Самый безобразный парень в мире — и при этом приветливый и очень обаятельный. Я в жизни не встречал такого человека, как он; человека, который с первой же минуты производил бы впечатление полной открытости — без всякой двойной подкладки, — широкой души, кроткого нрава; человека, который в любых обстоятельствах выказывал бы одинаковую простоту и добросердечность. Мы познакомились, когда сдавали вступительные экзамены в университет, и довольно близко дружили (насколько можно дружить, скажем, с архангелом), особенно на первых двух курсах гуманитарного факультета. Начал он с того, что указал на свое пятно и со смехом сообщил мне:

— Меня все зовут Образинка, кум. Угадай —

почему?

Мы в Сан-Маркосе тоже стали так его называть.

Он родился в Таларе, и каждый приятель был у него «кум». В любой его фразе проскальзывали просторечные, уличные словечки и выражения, отчего даже самые задушевные беседы начинали звучать шутливо. Вся загвоздка его жизни, говорил он, состояла в том, что папаша слишком обогатился на своей лавочке и в один прекрасный день решил переехать в Лиму. И как только они перебрались, значит, в столицу, старикан ударился в иудаизм. В Таларе, портовом городке под Пьюрой, он, насколько Сауль помнил, был не слишком-то религиозен. Пару раз заставал сына за Библией, но даже не пытался вбить Образинке в голову, что тот принадлежит к иному народу и к иной вере, чем остальные таларские мальчишки. Зато в Лиме началось. Вот незадача! Бес в ребро, понимаете ли. Точнее, Авраам с Моисеем в ребро. Етить! Нам, католикам, повезло. Католичество — просто два пальца оплевать, ничего сложного: ну, сходишь к мессе на полчаса раз в неделю, да в первую пятницу месяца причастишься, даже не заметишь. А вот ему всю субботу приходится просиживать штаны в синагоге, час за часом, и

не раззеваешься, и надо еще притворяться, будто тебе интересно, что там бубнит раввин — хоть и не понятно ни шиша, — иначе разочаруешь папашу, а он все-таки уже старенький, да и человек каких поискать. Если бы Образинка ему признался, что уже давно перестал верить в Бога, а свою принадлежность к избранному народу, как бы помягче выразиться, в гробу видал, бедного дона Соломона точно хватил бы удар.

С доном Соломоном я тоже вскоре познакомился. Он пригласил меня на воскресный обед. Их дом стоял в Бренье, за школой Ла Салье, на унылой улице, перпендикулярной проспекту Арика. Глубокие комнаты были забиты старой мебелью и полнились возгласами говорящего попугайчика, обладателя кафкианских имени и фамилии, который непрестанно повторял прозвище Сауля: «Образинка! Образинка!» Отец с сыном жили одни; еще имелась служанка, которая приехала с ними из Талары и не только готовила им, но и помогала во вновь открытом доном Соломоном продуктовом магазинчике. «Вон тот, видишь, где на решетке шестиконечная звезда, кум. Называется „Звезда“ — в честь звезды Давида, понял, да?»

Меня поразило, какой любовью и каким внима-

нием Образинка окружал своего отца, согбенного небритого старца, волочившего изуродованные подагрой ноги в туфлях, похожих на римские котурны. По-испански тот говорил с сильным русским или польским акцентом, хотя, как рассказал мне, вот уже больше двадцати лет жил в Перу. Вид у него был плутоватый и дружелюбный: «Я ведь в молодости хотел стать цирковым акробатом, а жизнь довела до прилавка. Что вы скажете за такое разочарование?» Сауль его единственный сын? Да, единственный.

А мама Сауля? Умерла через два года после переезда в Лиму. Черт, какая жалость, судя по фотографии, она была совсем молодая, да, Сауль? Да, совсем молоденькая. С одной стороны, Образинку, конечно, безумно печалила ее кончина. Но с другой, кто знает, может, для нее так лучше. Потому что в Лиме она очень страдала. Он сделал мне знак, чтобы я придвинулся поближе и, понизив голос (излишняя предосторожность: дона Соломона мы оставили крепко спящим в кресле-качалке в столовой, а сами ушли разговаривать в комнату Сауля), сказал:

— Мама была креолка из Талары. Старик сошелся с ней почти сразу, как приехал туда беженцем. Они вроде просто так жили, пока я не родился.

Только потом поженились. Ты хоть представляешь, что значит еврею жениться на христианке? На гойке, как мы это называем. Нет, не представляешь.

В Таларе это не имело никакого значения, поскольку на весь город там было две еврейские семьи, и обе потихоньку растворялись в местном обществе. Но после переезда в Лиму у мамы Сауля тут же начались проблемы. Она очень тосковала по родному городку, по теплу, безоблачному небу, яркому солнцу круглый год, по родственникам и друзьям. Да и лимская еврейская община ее не приняла — даром что она окуналась в ритуальную ванну и прошла у раввина целый курс по всем правилам обращения. На самом деле — Сауль хитро подмигнул мне — местные воротили от нее нос не столько как от гойки, сколько как от таларской креолочки, женщины простой, необразованной, едва грамотной. Потому что лимские евреи, они же обуржуазились, кум.

Он говорил без всякой злобы, без всякой драматичности, спокойно принимая то, что, по-видимому, не могло произойти иначе. «Мы с мамулей были не разлей вода. Она тоже в синагоге помирала со скуки, и мы тайком от дона Соломона убивали там по субботам время, незаметно играя

в камень-ножницы-бумага. На расстоянии. Она садилась на первом ряду галереи, а я сидел внизу, с мужчинами. Выкидывали одновременно. Такой смех на нас, бывало, нападал, что набожные евреи до чертиков пугались». А потом ее за несколько недель испепелил рак. И у дона Соломона весь мир рухнул.

— Представший тебе дряхлый старичок, который сейчас кемарит в столовой, был пару лет назад крепким мужчиной, полным сил и жизнелюбия. Смерть мамули его напрочь подкосила.

Сауль поступил в Сан-Маркос, на юридическое, в угоду дону Соломону. Будь его, Сауля, воля, он бы лучше помогал со «Звездой», которая для отца оборачивалась сплошной головной болью и требовала куда больше усилий, чем он, в его-то годы, заслуживал. Но дон Соломон стоял насмерть. Нога Сауля никогда не ступит за прилавок. Сауль не сделается торговцем, как отец.

— Да почему же, папочка? Боитесь, я вам своей рожей клиентов распугаю? — говорил он мне с хохотом. — Дон Соломон, видишь ли, подкопил-таки грошей и теперь желает, чтобы семья прославилась. Спит и слышит, как фамилия Суратас звучит в дипломатических кругах или в палате депутатов. Да ни в жисть!

Сауля вовсе не привлекала перспектива прославления доброго имени своего рода при помощи какой-нибудь либеральной профессии. Чем же он хотел заниматься в жизни? Он явно пока не знал. Но потихоньку узнавал, как раз в те месяцы и годы, на которые пришлась наша дружба, в пятидесятые, пока Перу переходило — а Образинка, и я, и все наше поколение тем временем взрослели — от лживого спокойствия диктатуры генерала Одрии к неопределенности и новшествам демократического режима, вновь установившегося в 1956-м, когда мы с Саулем были на третьем курсе.

К тому моменту он явно понял, чем хочет заниматься в жизни. Не то чтобы его как громом поразило, да и непоколебимая уверенность пришла позже, но так или иначе странный механизм был запущен и шажок за шажком, подталкивая то там, то сям, прокладывал лабиринт, из которого Образинке не суждено будет выбраться. В 1956 году он наряду с правом уже изучал этнологию и несколько раз успел побывать в сельве. Чувствовал ли он тогда, как его обвораживают лесные люди, нетоптаная природа, крошечные первобытные культуры, разбросанные по лесистым холмам у подножья гор и амазонской равнине?

Горел ли происходившим из самых глубин его личности огнем солидарности с этими нашими согражданами, которые с незапамятных времен жили, гонимые, затравленные, среди широких медленных рек, носили набедренные повязки, делали себе татуировки, поклонялись духам дерева, змеи, облака, молнии? Да, все это уже началось. И я понял это после случая в бильярдной, два или три года спустя после нашего знакомства.

Иногда мы между занятиями ходили на улицу Асангаро сыграть партию-другую в захудалой бильярдной и по совместительству распивочной. Когда я шел с Саулем по городу, то начинал понимать, как ему непросто живется из-за людской наглости и низости. Прохожие оборачивались на него, останавливались как вкопанные, рассматривали, вылупив глаза, не скрывая удивления или отвращения при виде его лица, а многие, особенно дети, еще и выкрикивали всякие оскорбления. Он, впрочем, как будто не обижался и всегда отвечал на выпады какой-нибудь шуткой. Инцидент в бильярдной спровоцировал не он, а я — во мне-то ничего от архангела нет.

За стойкой сидел пьяница. Едва завидев нас, он сполз со своего места и подошел к Саулю, пошатываясь и уперев руки в боки:

— Едрить вашу, вот это чудище! Ты из какого зоопарка сбежал?

— Из нашего единственного, в Барранко, из какого же еще? — ответил Образинка. — Поспешишь — успеешь, моя клетка, поди, еще открыта.

И сделал шаг вглубь бильярдной. Но пьяница вытянул руки ему навстречу, скрестив пальцы, как ребенок, которого отругали.

— Никуда ты не пойдешь, урод, — сказал он, неожиданно разъярившись. — С такой рожей вообще дома надо сидеть, не пугать людей.

— Так другой-то у меня нет, — улыбнулся ему Сауль. — Отойди, не мешай.

Я к этому моменту уже потерял терпение. Схватил пьяницу за грудки и начал его трясти. Мы едва не сцепились, народ всполошился, все сбились в кучу, и в конце концов пришлось нам с Образинкой уйти, не сыграв партию.

На следующий день я получил от него подарок с запиской. Это был вырезанный из белой кости ромбик с геометрическими фигурами кирпично-охряного оттенка. Фигуры образовывали лабиринты из черточек разной длины, разделенных равными отрезками пустоты; маленькие как бы прятались в больших. Записка, веселая и

загадочная, была примерно такого содержания:

Кум,

будем надеяться, волшебная косточка усмирит твой нрав и ты перестанешь давать зуботычины несчастным алкоголикам. Это кость тапира, а рисунок — не бессмыслица, как может показаться, не примитивные палочки, а символическая надпись. Моренанчшите, владыка грома, надиктовал ее ягуару, а ягуар — моему другу-колдуну из лесов в верховьях реки Пича. Если ты думаешь, что символы изображают реку с двумя водоворотами или двух свернувшихся и прикорнувших удавов, возможно, ты прав. Но в первую очередь они означают порядок, который царит в мире. Тот, кто позволяет гневу овладеть собой, искривляет эти линии, и они, искривленные, больше не могут поддерживать землю. Ты же не хочешь, чтобы по твоей вине жизнь исчезла и мы вернулись в первоначальный хаос, из которого нас своим дуновением извлекли Тасуринчи, бог добра, и Киентибакори, бог зла, правда, кум? Так что больше не злись, особенно из-за меня. Но все равно спасибо.

Пока!

Сауль

Я попросил его поподробнее рассказать про гром, про ягуара, про искривленные линии, про Тасуринчи и Киентибакори, и он целый вечер в Бренье развлекал меня описанием верований и обычаев племени, рассеянного по лесам в департаментах Куско и Мадре-де-Дьос.

Я лежал на его кровати, он сидел на сундуке, а на плече у него устроился попугайчик, покусывал его за рыжие вихры и то и дело визгливо и требовательно выкрикивал: «Образинка!» «Тише, Грегор Замза», — успокаивал его Сауль.

Рисунки на их утвари, на их кушмах, татуировки на лицах и телах — не случайны и служат не для украшения, кум. Это шифрованная письменность, она содержит тайное имя людей и священные формулы, чтобы уберечь предметы от разрушения и порчи, которые через эти самые предметы могут перекинуться на их хозяев. Рисунки диктует шумное бородатое божество, Моренанчиите, владыка грома: с вершины холма в разгар бури он сообщает нечто ягуару. Тот в свою очередь передает послание знахарю или шаману во время «дурмана» от аяуаски, галлюциногенной лианы, отвар из которой пьется на всех традиционных церемониях. Колдун из верховьев реки Пича — «точнее, мудрец — колдуном

я его называю, чтоб ты лучше понял» — поведал Саулю ту философию, что позволила племени дожить до наших дней. Самое главное для них — спокойствие. Нельзя тонуть — ни в стакане воды, ни во время наводнения. Нужно сдерживать всякий страстный порыв, потому что между человеческим духом и духами природы существует роковое соответствие, и любой резкий всплеск у человека ведет к катастрофе в окружающей жизни.

— Если какой-нибудь тип съедет с катушек, то может выйти из берегов река, а из-за убийства в деревню может ударить молния. Не исключено, что аварию экспресса на проспекте Арекипа сегодня утром устроил ты, врезав вчерашнему забулдыге. Тебя совесть не угрызает?

Меня удивляло, как много он знает о племени. И еще сильнее удивляло, какую симпатию вызывает в нем это знание. Он говорил об индейцах, об их обычаях и мифах, их среде обитания и богах с тем же почтением и восхищением, что я — о Сартре, Мальро и Фолкнере, которыми зачитывался в том году. Даже про своего любимого Кафку он никогда не упоминал с таким волнением.

Видимо, тогда я и заподозрил, что Сауль не станет юристом, а его интерес к амазонским

индейцам не только этнологический. Не профессиональный, не «технический», а гораздо более глубокий, хоть и трудно поддающийся определению. В этом интересе было больше эмоций, чем рассудка, больше деятельной любви, чем интеллектуального любопытства или жажды приключений, которая, казалось, определяла призвание стольких однокашников Сауля с кафедры этнологии. Мы, его коллеги и друзья, часто строили догадки о его отношении к новой профессии, о столь явной увлеченности Амазонией, во дворике гуманитарного факультета Сан-Маркоса.

Знал ли дон Соломон, что сын теперь изучает этнологию, или по-прежнему думал, что тот корпит над законами? Образинка все еще числился на юридическом, но на деле полностью забросил учебу. За исключением Кафки, особенно «Превращения», которое он бесконечно перечитывал и почти выучил наизусть, вся его библиотека теперь состояла из трудов по антропологии. Я помню, как его поразило, что о племенах написано так мало, и возмущало, что даже эту скудную библиографию, рассеянную по оттискам и журналам, очень непросто достать: далеко не всегда она доходила до Сан-Маркоса или Национальной

библиотеки.

Все началось, рассказал он мне как-то, с поездки в Кильябамбу на День независимости. Его пригласил дядя, двоюродный брат матери, мелкий землевладелец, который переехал в тамошние места из Пьюры и занялся древесиной. Он уходил глубоко в чащу в поисках красного и розового дерева, и на него работали проводники и дровосеки из коренных народов. Образинка здорово сдружился с некоторыми из них — большинство жило на довольно западный манер, — они брали его в походы и селили вместе с собой в лагерях, разбивавшихся по всему обширному региону верховий рек Урубамба и Мадре-де-Дьос с притоками. Он целый вечер в невероятном волнении рассказывал мне, как проходил на плоту через теснину Майнике, где Урубамба, зажатая между двумя контрфорсами гор, превращалась в лабиринт порогов и водоворотов.

— Некоторые носильщики так боятся, что приходится их привязывать к плотам, как коров, иначе не суются в теснину. Ты и представить себе не можешь, кум!

Испанец-миссионер из доминиканской миссии в Кильябамбе показал ему таинственные петроглифы в разных местах того края; Сауль пробовал

обезьяну, черепаху, червей, а однажды вдрызг упился масато из маниока.

— Местные верят, что теснина Майнике дала начало миру. И я тебе клянусь, там в воздухе витает что-то священное, аж волосы дыбом встают. Ты себе не представляешь, кум! Охренеть можно.

Никто и не подозревал, какие последствия будут у этой поездки. Включая самого Сауля, я уверен.

На Рождество он снова отправился в Кильябамбу, а потом провел там все лето. Вернулся туда на июльские каникулы и в следующем декабре. Всякий раз, когда в Сан-Маркосе начиналась забастовка, даже совсем недолгая, он отчаливал в сельву на чем мог: на грузовиках, поездах, автобусах, попутках. Обратно являлся возбужденный, разговорчивый, глаза блестели от восторга перед открывшимися ему сокровищами. Все тамошнее страшно его интересовало и будоражило. Например, знакомство с легендарным Фиделем Перейрой. Сын белого уроженца Куско и женщины-мачигенга, Перейра являл собой нечто среднее между феодалом и индейским вождем. В последней трети XIX века горожанин из хорошей семьи углубился, скрываясь от правосудия, в сельву, а мачигенга его приютили. Там он женился на

женщине из племени. Его отпрыск Фидель жил меж двух культур: с белыми вел себя как белый, с мачигенга как мачигенга. У него было несколько законных жен и бесчисленное множество наложниц, а также целое созвездие сыновей и дочерей, руками которых он контролировал все кофейные плантации и фермы между Кильябамбой и тесниной Майнике, где на него едва ли не задаром работали его соплеменники. Образинка, тем не менее, относился к нему довольно благосклонно:

— Ну да, он их эксплуатирует. Но хоть не презирает. Отлично знает культуру и гордится ею. А когда кто-то норовит творить над ними произвол, защищает их.

В воодушевленных рассказах Сауля даже самые тривиальные эпизоды — расчистка участков или ловля рыбы паку — представали в героическом свете. Но больше всего его пленил мир индейцев как таковой: простые практики, скромная жизнь, анимизм, магия. Теперь я знаю, что те, чьему языку он начал учиться у детей, воспитывавшихся в доминиканской миссии в Кильябамбе (однажды он пропел мне грустную, заунывную и непонятную песню, потряхивая в такт полной семян тыковкой), были мачигенга. Теперь я знаю, что плакаты с рисунками, наглядно показывавшими

опасность глушения рыбы динамитом, которые я видел наваленными кучей у него дома в Бренье, он изготавливал для белых и метисов из верховий Урубамбы, для детей, внуков, племянников, ублюдков и пасынков Фиделя Перейры, чтобы таким образом сохранить виды, кормившие тех самых индейцев, что четверть века спустя попадут в объектив ныне покойного Габриеле Мальфатти.

С высоты времени, зная, что произошло потом — я много об этом думал, — я могу сказать, что Сауль пережил обращение. В культурном смысле, а может, и в религиозном тоже. Только раз мне довелось наблюдать конкретный опыт такого рода и только в Сауле, кажется, обрело смысл, материализовалось то, что монахи из моей школы пытались описать нам на уроках катехизиса в выражениях вроде «постигла благодать», «осенила благодать», «попал в сети благодати». Едва соприкоснувшись с Амазонией, Образинка угодил в духовную ловушку и стал другим человеком. Он не просто забросил юриспруденцию, не просто записался на этнологию, не просто сменил круг чтения, в результате чего не выжил ни один литературный персонаж, кроме Грегора Замзы. С какого-то момента его перестали заботить все де-

ла, кроме двух — они составляли его наваждение и говорил он в последующие годы исключительно о них: состояние амазонских культур и агония лесов, которые служили для этих культур домом.

— Ты как заезженная пластинка, Образинка. С тобой и поговорить толком теперь нельзя.

— Ах ты ж! И то правда, старик, я тебе рта раскрыть не даю. Ну валяй, если хочешь, задвинь мне про Толстого, про классовую борьбу или там про рыцарский роман.

— Тебе не кажется, что ты слишком уж переживаешь, Сауль?

— Нет, кум, мне кажется, что я должен сильнее переживать. Я тебе клянусь. В Амазонии творится самое настоящее преступление. Ему нет оправдания, как ни посмотри. Ты не смейся, друг, ты мне поверь. Поставь себя на их место на минутку. Куда им еще деваться? Их веками сгоняют с собственных земель, заталкивают все глубже и глубже. Удивительно, что, несмотря на все эти ужасы, они до сих пор не исчезли. Живут ведь, сопротивляются. Лично я снимаю перед ними шляпу. Черт, опять меня понесло. Давай про Сартра. Меня просто бесит, что всем насрать, что там происходит.

А ему-то, почему ему было не все равно? Точно

не из-за политики. Политику Образинка явно считал самым скучным занятием на свете. Когда мы говорили о ней, я видел, что он просто старается поддерживать беседу, боится меня обидеть: я тогда увлекался идеями революции, штудировал Маркса и рассуждал про производственные отношения. Сауля это интересовало не больше раввиновых проповедей. С другой стороны, вряд ли им двигала общая этика, то, как положение жителей сельвы высвечивало социальную несправедливость в нашей стране, — на другие вопиющие язвы прямо у него под носом он так не реагировал, возможно, просто не замечал их. Например, на ситуацию с индейцами Анд — которых было несколько миллионов, в отличие от амазонских нескольких тысяч, — или на то, как перуанцы среднего и высшего класса обращаются с прислугой и как ей платят.

Нет, Сауля Суратаса преобразило не что иное, как банальное проявление человеческой несознательности, безответственности и жестокости, угрожавшее людям и деревьям, животным и рекам сельвы; преобразило, лишило всех иных устремлений и сделало человеком идеи фикс, но эту причину мне (а возможно, и ему самому) тогда трудно было понять. До такой степени,

что, если бы не его доброта, его сердечность и предупредительность, я бы, пожалуй, перестал с ним общаться. Потому что, по правде говоря, он превратился в зануду.

Иногда я его провоцировал, чтобы посмотреть, как далеко он заедет на своем любимом коньке. Так что же он предлагает? Чтобы Перу отказалось от Амазонии, лишь бы не осквернить образ жизни и верования каких-то там племен, многие из которых еще не выбрались из каменного века? Шестнадцать миллионов перуанцев должны плюнуть на три четверти своей страны со всеми природными ресурсами, чтобы семьдесят или восемьдесят тысяч амазонских индейцев и дальше охотились друг на дружку с луком, усушивали головы врагов и поклонялись какому-нибудь удаву? Нам что, просто забыть про сельскохозяйственный, скотоводческий и торговый потенциал региона, чтобы этнографы со всего мира забавлялись, изучая потлач, отношения родства, свадебные и похоронные обряды, ритуалы вступления в зрелость и все прочее, чем эти живые экспонаты занимались почти без изменений на протяжении долгих веков? Нет уж, дорогой Образинка, страна должна развиваться. Не зря же Маркс сказал, что прогресс всегда

сочится кровью. Сколь ни грустно, придется смириться. У нас нет другого выхода. Если ради развития и индустриализации во благо шестнадцати миллионов перуанцев паре тысяч дикарей нужно срезать космы, смыть татуировки и смешаться с остальным населением — или, возьмем самое страшное для любого этнолога слово, подвергнуться *аккультурации*, — то ничего уж тут не поделаешь.

Образинка на меня не сердился, потому что вообще ни на кого и никогда не сердился, и не принимал высокомерный вид «я-тебя-прощаю-ибо-не-знаешь-что-говоришь». Но я, провоцируя его, всегда чувствовал, что ему от этого так же больно, как если бы я дурно отозвался о доне Соломоне Суратасе. Однако он умело это скрывал. Возможно, он уже достиг идеала мачигенга и перестал испытывать всякий гнев, чтобы параллельные линии, поддерживающие мир, не дай бог не прогнулись. Кроме того, он отказывался обсуждать эту тему, да и любую другую, обобщенно, с идеологической точки зрения, поскольку обладал врожденным отвращением к абстрактному разглагольствованию. Он всегда говорил о конкретных проблемах, о том, что видел собственными глазами, и о последствиях, которые

каждый мало-мальски разумный человек мог себе вообразить.

— Например, рыбная ловля с применением взрывчатки. Предполагается, что она запрещена. Но легко убедиться в обратном, кум. Нету в сельве такой речки или ручья, где индейцы с гор или виракочи — так местные называют нас, белых, — не экономили бы время, глуша рыбу динамитом. Время они экономят! Ты понимаешь, что это значит? Динамитные шашки день и ночь ударяют по косякам рыбы. Целые виды вымирают, кум.

Мы сидели в баре «Палермо» на улице Николаса де Пьеролы (ее все тогда называли «Ульем») и пили пиво. Снаружи светило солнце, спешили по тротуарам прохожие, яростно гудели обшарпанные автомобили, а вокруг нас висел дым, пахший маслом для жарки и мочой, как во всех кафешках в центре Лимы.

— А как же рыбалка при помощи ядов, Образинка? Ее-то придумали сами индейцы, скажешь, нет? Получается, они тоже разоряют Амазонию.

Я хотел, чтобы он расчехлил тяжелую артиллерию. И он не замедлил направить на меня орудия. Это полная чушь и вранье. Для рыбалки они используют растения барбаско или кумо, но только в мелких протоках, рукавах рек и в промоинах,

которые остаются на островах, когда вода отступает. Да и то не круглый год. Ни в коем случае не во время нереста — а когда у какой рыбы нерест, они знают назубок. В этот период они ловят сетями, гарпунами, силками или голыми руками, кум, ты бы видел! А вот креолы действительно сыплют в воду барбаско и кумо в любое время года и повсюду. На протяжении десятилетий они раз за разом отравляют реки. Понятно мне? Они не только уничтожают мальков после нереста, но и портят корни прибрежных деревьев и трав.

Идеализировал ли он индейцев? Да, я уверен, идеализировал. И, возможно, бессознательно преувеличивал бедственность их положения для пущей убедительности своих аргументов. Но, совершенно очевидно, маленьких дорад и сомов, едва вылупившихся из икринок и тут же отравленных стеблями барбаско или кумо, и больших арапайм, разорванных на куски динамитными шашками рыбаков из Лорето, Мадре-де-Дьос, Сан-Мартина, он жалел не меньше, чем жалел бы своего говорящего попугайчика, случись с ним несчастье. С той же горечью он вещал о массовых вырубках по распоряжению торговцев древесиной — «мой дядя Иполито один из них, хоть и тяжело это признавать», — вырубках, в

которых погибали деревья самых ценных пород. Рассказывал, как виракочи и горные индейцы спускаются с Анд и захватывают сельву, выжигают дотла огромные площади леса, а через один-два урожая эта земля становится бесплодной из-за эрозии и нехватки перегноя. А что уж говорить про уничтожение животных, кум, к примеру, про безумную, алчную охоту за шкурами, поставившую ягуаров, ящериц, пум, змей и десятки других видов на грань исчезновения. Это была долгая речь, которую я прекрасно помню, потому что под конец, когда мы уже осушили немало бутылок пива и съели не по одному бутерброду с жареной свининой и бататом (Сауль их обожал), возникла еще одна тема. От деревьев и рыб он в своих пламенных монологах неизменно возвращался к главному тревожившему его предмету: племенам. Если так пойдет и дальше, они тоже исчезнут.

— Ты серьезно считаешь, что полигамия, анимизм, усушивание голов и колдовские зелья из табака — это высшая форма культуры, Образинка?

Маленький индеец посыпал опилками из ведра плевки и прочие мерзости, скопившиеся на красноватом плиточном полу бара «Палермо», а

следом за ним шел китаец и подметал. Сауль долго смотрел на меня и ничего не отвечал. Потом покачал головой.

— Нет, не высшая. Я никогда так не говорил и не считал, дружище, — очень серьезно сказал он. — Возможно, низшая, если это измеряется детской смертностью, положением женщины, моногамией или полигамией, промыслами или промышленностью. Не думай, я их не идеализирую. Даже близко.

Он снова умолк, будто отвлекся на что-то, может, на спор за соседним столом, который то утихал, то разгорался все время, пока мы сидели в баре. Но мне только так показалось. На самом деле он погрузился в воспоминания. И вдруг вроде бы погрустнел.

— У идущих людей и в других племенах есть много такого, от чего бросает в дрожь, старик. Я не отрицаю.

Например, народы агуаруна и уамбиса из верховий Мараньона руками вырывают у дочерей девственную плеву, как только к тем приходит первая кровь, и съедают; во многих племенах существует рабство; в некоторых общинах стариков оставляют умирать при малейшем признаке недомогания под предлогом, что души этих

людей уже призваны и путь их окончен. Но самое ужасное, самое немыслимое с нашей точки зрения — это то, что с толикой черного юмора можно было бы назвать перфекционизмом племен аравакской группы. Перфекционизмом, Сауль? Да, только мне, как и ему поначалу, это стремление к совершенству покажется очень жестоким, приятель. Детей, которые родились с физическим дефектом — одноногих, одноруких, слепых, шестипалых, четырехпалых, с заячьей губой, — матери убивают: бросают в реку или хоронят заживо. Такой обычай любого шокирует, чего уж там.

Он долго сверлил меня взглядом, молча, задумчиво, как будто подыскивал правильные слова для следующей фразы. Вдруг дотронулся до своего огромного родимого пятна.

— Я бы не прошел отбор, кум. Меня бы отправили в утиль, — прошептал он. — Говорят, спартанцы тоже так делали, да? Юных монстров, грегоров замз, сбрасывали с горы Тайгет, да ведь?

Он рассмеялся, я рассмеялся, но мы оба знали, что он не шутит и что в этом нет ничего смешного. Сауль добавил: любопытно, что те же самые люди, беспощадные к новорожден-

ным уродцам, на редкость терпимо относятся к соплеменникам, детям или взрослым, которых обезобразил несчастный случай или болезнь. Сауль, по крайней мере, не заметил в племени никакой враждебности по отношению к инвалидам — как и к сумасшедшим. Его рука так и лежала на лиловой чешуе, покрывавшей половину лица.

— Но в любом случае они такие, какие есть, и мы должны их уважать. Это помогало им сотни лет выживать в гармонии с лесом. Пусть мы не понимаем их верований, а некоторые обычаи нам претят — все равно мы не имеем права покончить с ними.

Кажется, тем утром в баре «Палермо» он в первый и последний раз не в шутку, а всерьез, даже с толикой драматизма, затронул в речи особенность, которая, по всей видимости, как бы элегантно он ни скрывал это, составляла трагедию его жизни, превращала его в ходячую мишень для насмешек и фырканий и наверняка влияла на все его отношения, особенно с женщинами (он вел себя с ними очень робко; в университете, заметил я, он мог разговориться с кем-то из однокурсниц, только если та первая к нему обратилась). Наконец он убрал руку от лица, скривился, будто раскаялся, что коснулся

пятна, и снова пустился проповедовать:

— Разве наши машины, пушки, самолеты, кока-колы дают нам право уничтожить этих людей, потому что у них ничего такого нет? Или ты считаешь, что «дикарей нужно цивилизовать»? Как? В армию отправить? Или послать на фермы, чтоб были рабами у креолов типа Фиделя Перейры? Вынудить отказаться от языка, религии, привычек и дать новые, как хотят миссионеры? Чего этим можно добиться? Того, что их удобнее будет эксплуатировать, только и всего. Что они превратятся в зомби, в карикатуру на человека, как наполовину аккультурированные индейцы на улицах Лимы.

Маленький индеец, который посыпал пол опилками, был обут в шлепанцы, какие мастерят уличные продавцы: подошва да два ремешка, вырезанных из покрышки; штаны в заплатах держались на куске бечевки. Ребенок, но лицо старческое, жесткие волосы, черные ногти, красноватая корка вокруг ноздрей. Зомби? Карикатура? Не лучше ли ему было навсегда остаться в своей деревне в Андах, носить вязаную шапку с ушками, сандалии, пончо и вовсе не знать испанского? Я сомневался — и сейчас сомневаюсь. А вот Образинка не сомневался. Он говорил без

напора, без злости, спокойно и твердо. Долго объяснял мне, в чем состоит обратная сторона племенных зверств («не что иное как плата за выживание»), рассказывал, что именно восхищает его в этих культурах. У всех у них, несмотря на огромные различия, имеется нечто общее: живое понимание мира, в который они погружены, мудрость, родившаяся из многовековой практики и позволяющая им с помощью тщательно разработанной системы ритуалов, запретов, страхов, повседневных дел — все это повторяется и передается от родителей к детям — сохранять вроде бы необузданную, а на деле хрупкую и беззащитную природу, от которой зависит их существование. Они выжили, потому что их обычаи и традиции смиренно подчинялись ритмам и требованиям естественного мира, не нарушали его, не сотрясали, а вмешивались ровно настолько, чтобы он их не уничтожил. Мы же, цивилизованные люди, поступаем как раз наоборот: бездумно растрачиваем то, без чего в конце концов завянем, как цветы без воды.

Я слушал и делал вид, что мне интересно. Но мысли мои были заняты его пятном. Почему именно через него он решил разъяснить мне, что чувствуют коренные обитатели Амазонии?

Может, именно в этом ключ к обращению Образинки? Все эти шипибо, уамбиса, агуаруна, ягуа, шапра, кампа, машко представляют для перуанского общества то, что он способен понять, как никто другой: живописное безобразие, исключение, которое вызывает жалость или насмешку, но не заслуживает уважения и достойного обращения, полагающихся только тем, кто своим видом, привычками и убеждениями совпадает с «нормальностью». И он, и они для остальных перуанцев — аномалия: его отметина вызывает в них, в нас, то же чувство, что мы в глубине души испытываем к полуголым существам, которые живут где-то далеко, поедают пойманных друг у друга вшей и говорят на непонятных наречиях. Может, поэтому Образинка с первого взгляда полюбил лесных дикарей? Подсознательно отождествил себя с этими отверженными через пятно, которое и его делало отверженным всякий раз, как он выходил на улицу?

Я поделился с ним своей гипотезой в надежде, что это поднимет ему настроение, и он в самом деле рассмеялся.

— Так ты, значит, психологию у профессора Герриты на пятерку сдал? — подколол он меня. — Я бы на его месте тебя завалил.

И, все еще посмеиваясь, рассказал, что дон Соломон Суратас, человек куда более проницательный, чем я, предложил иудейскую трактовку увлечения сына.

— Я как бы вижу в амазонских индейцах еврейский народ, вечное меньшинство, гонимое за веру и обычаи, отличающиеся от веры и обычаев остального общества. Как тебе такое? Толкование поблагороднее твоего, этакий синдром Франкенштейна. У кого что болит, кум.

Я возразил: одна интерпретация другой не исключает. Он принялся с восторгом развивать эту тему:

— Да, может, ты и прав. Может, тот факт, что я наполовину еврей и наполовину чудовище, сделал меня чувствительнее тебя, до ужаса нормального мужчинки, к судьбе лесных людей.

— Бедные лесные люди! Ты в них плачешься, как в жилетку. Тоже используешь их, получается.

— Ладно, прервемся, а то у меня лекция, — сказал он, поднимаясь. От его недавней сумрачности не осталось и следа. — Но напомни, чтобы в следующий раз я тебя разубедил насчет «бедных лесных людей». Я тебе такое, кум, расскажу, что у тебя глаза на лоб полезут. Например, что с ними

творили во время каучуковой лихорадки. Тех, кто это выдержал, нельзя называть бедными. Они скорее сверхлюди. Подожди, узнаешь.

Так я понял, что Сауль поделился своим призванием с доном Соломоном. Дряхлому патриарху пришлось смириться с тем, что сын прославит фамилию Суратас не в зале суда, а в университетских аудиториях и во владениях антропологии. Вот, значит, кем он хочет стать? Академиком? Ученым? У него есть все возможности — в этом я убедился, когда услышал слова одного из его преподавателей, профессора Хосе Матоса Мара, тогда заведовавшего в университете Сан-Маркос кафедрой этнологии.

— Этот парень, Суратас, оказался первоклассным студентом. Все три месяца каникул он проводил в Урубамбе полевые исследования с мачигенга и привез отличный материал.

Обращался Матос Мар к Раулю Поррасу Барренечеа, историку, с которым я работал по вечерам и который питал острую неприязнь к этнологии и антропологии, считая, что эти дисциплины заменили человека как главный субъект культуры палкой-копалкой и вдобавок оказали пагубное влияние на испаноязычную прозу (которую сам он, к слову сказать, писал превосходно).

— Так давайте же сделаем из этого юноши историка, а не учетчика камушков, доктор Матос! Проявите альтруизм, отдайте мне его на кафедру.

Работа, которую Сауль провел в 1956 году у мачигенга, легла в основу его бакалаврского диплома. Он защитился после пятого курса, и я хорошо помню, какой гордостью сиял, как истово радовался дон Соломон. Нарядный, в крахмальной манишке, он наблюдал за защитой из первого ряда, и маленькие глазки его блестели, пока Сауль зачитывал свои тезисы, лихо отвечал на вопросы комиссии — под председательством Матоса Мара, — получал отличную оценку и полагавшуюся выпускнику ленту.

Дон Соломон повел нас с Саулем праздновать в ресторан «Раймонди» в центре Лимы. Сам при этом не притронулся к еде, возможно, чтобы ненароком не нарушить кашрут (когда Сауль заказывал свинину или морепродукты, то в шутку говорил мне: «Я, конечно, грешу, когда их поглощаю, но это-то и придает им особый вкус! Тебе не понять, кум»). Старик лопался от гордости за сына. В середине обеда он взволнованно обратился ко мне с характерным восточноевропейским акцентом, будто пережевывая каждое слово:

— Внушите своему другу, чтобы он согласился на стипендию! — и при виде моего удивления пояснил: — Он не хочет ехать в Европу, боится оставить меня одного. Можно подумать, я дите малое и сам о себе не позабочусь. Я сказал ему: если мне нужно помереть, чтобы ты спокойно отправился во Францию и получил специализацию, я таки тебе это устрою.

Так я узнал, что Матос Мар добился для Сауля аспирантской стипендии в университете Бордо. Но Образинка отказался, чтобы не покидать отца. В этом ли состояла истинная причина? Тогда я поверил, а теперь понимаю, что он слукавил. Теперь у меня нет сомнений, что его обращение — пусть он в этом не признавался и держал в строжайшей тайне — вызревало в нем, пока не обрело черты мистического порыва, возможно, даже жажды мученичества. Теперь мне совершенно ясно, что бакалаврский диплом по этнологии он написал и защитил, четко зная, что никогда не будет этнологом — просто чтобы не огорчать дона Соломона. Сам я в те дни отчаянно добивался стипендии, которая позволила бы мне поехать в Европу, и несколько раз безуспешно пытался переубедить своего друга не упускать такой шанс: «Второй раз тебе не подфартит, Образинка. Европа! Франция!

Не дури, чувак!» В ответ раздавалось категорическое «нет»: он не может уехать; у дона Соломона он один на всем свете и не оставит папу на целых два или три года — он же такой старенький!

Само собой, я ему поверил. А вот человек, который добыл ему стипендию и возлагал на него большие научные надежды, его учитель Матос Мар, не поверил. Однажды он, по обыкновению, зашел под вечер в гости к Поррасу Барренечеа обменяться идеями и выпить чаю с «дамскими пальчиками» и удрученно объявил:

— Что ж, вы в выигрыше, доктор Поррас. Бордо в этом году достается кафедре истории. Наш кандидат отказался, представляете себе?

— Насколько я помню, в истории Сан-Маркоса еще не было случая, чтобы кто-то отказывался от французской стипендии, — заметил Поррас. — Какая муха укусила этого малого?

Я в этот момент находился в комнате, где они беседовали, — вносил в картотеку мифы об Эльдорадо и Семи золотых городах из хроник открытия и завоевания Америки — и вставил слово: Сауль не хочет уезжать, потому что заботится о престарелом доне Соломоне.

— Да, он так сказал, и надеюсь, это правда, — скептически произнес Матос Мар, кивнув. — Но

боюсь, там что-то еще. У Сауля появились сомнения относительно полевых исследований. Сомнения этического характера.

Поррас Барренечеа выставил подбородок вперед и прищурился, как всегда, когда собирался отпустить нечто ехидное.

— Ну, если Суратас уразумел, что этнология — это псевдонаука, которую выдумали гринго, чтобы убить гуманитарное знание, то он умнее, чем могло показаться.

Но Матос Мар не улыбнулся.

— Я серьезно, доктор Поррас. Мне очень жаль, потому что молодой человек талантливейший. Сообразительный, восприимчивый, отличный исследователь, редкой работоспособности. Но ему вдруг втемяшилось, что наш труд аморален.

— Аморален? Конечно, бог вас знает, что вы там творите с нашими милыми дикарями под предлогом изучения обычаев, — со смехом ответил Поррас. — Я уж точно не дам руку на отсечение, что все этнологи — сосуды добродетели.

— Якобы мы агрессивно нарушаем их культуру, — продолжал Матос Мар, не слушая собеседника. — Якобы мы с нашими диктофонами и перьевыми ручками — все равно что червячок, который вгрызается в плод и губит его.

Он рассказал, что пару дней тому назад на их кафедре разразилась дискуссия. Сауль Суратас привел всех коллег в замешательство, заявив, что последствия работы этнологов мало чем отличаются от влияния торговцев каучуком, торговцев деревом, армейских вербовщиков и прочих метисов и белых, подрывающих жизнь племен.

— Он сказал, что мы подхватили работу, брошенную миссионерами времен колонии. Под предлогом науки мы, как они под предлогом христианизации, впиваемся в индейцев. Мы — передовой отряд их истребления.

— Неужели во двориках Сан-Маркоса вновь повеяло фанатичным индихенизмом?– вздохнул Поррас.– Не удивлюсь: эта зараза, как грипп, приходит волнами. Уже вижу, как Суратас строчит памфлеты против Писарро, испанского завоевания и преступлений инквизиции. Нет, не нужен он мне на кафедре истории! Пускай соглашается на стипендию, получает французское гражданство и делает себе имя на черной легенде[8] подальше отсюда.

Я не придал словам Матоса Мара большого зна-

[8] Примечания: 8

Черной легендой в историографии называют тенденцию к фабрикации и предвзятому, искаженному освещению фактов против конкретных лиц, народов и учреждений с целью их дегуманизации.– *Примеч. ред.*

чения тогда, в окружении пыльных стеллажей, заполненных книгами и статуэтками Дон Кихотов и Санчо Панс, в доме Порраса Барренечеа на улице Колина в районе Мирафлорес. И, кажется, не упомянул их в дальнейших разговорах с Саулем. Но здесь, во Флоренции, пока я вспоминаю и делаю записи, та беседа задним числом обретает огромное значение. Чувства Сауля — что бы это ни было: симпатия, солидарность, наваждение — достигли пика, преобразовались в нечто новое. Чего он добивался своими претензиями к этнологам, которых, при всей их зашоренности, трудно было упрекнуть, будто они не понимают, что к мировидению коренных жителей сельвы нужно подходить с особыми лекалами? Совершеннейшей утопии? Чтобы, признавая неотъемлемые права племен на сельву, остальное Перу в нее не совалось? Чтобы никто туда больше не заходил и не загрязнял их культуру вырожденческими миазмами нашей? Неужели амазонский пуризм Сауля сделался так радикален?

В последние университетские месяцы мы с ним редко виделись. Я тоже был очень занят, дописывал диплом. Он практически забросил право. Лишь иногда я ловил его, когда он пробегал мимо кафедры литературы, соседней с

этнологией. Мы выпивали кофе или выкуривали по сигаретке и болтали под пожелтевшими пальмами возле исторического здания в Университетском сквере. Мы повзрослели, занялись каждый своими обязанностями и проектами, и наша дружба, довольно тесная на первых курсах, превратилась в поверхностное и пунктирное приятельство. Я спрашивал, как его работа: он вечно был только что из сельвы или вот-вот собирался туда вернуться, и до разговора между Матосом Маром и Поррасом Барренечеа я связывал это с университетскими исследованиями, со специализированным изучением амазонских культур. Но по большому счету, за исключением последнего раза — когда мы распрощались и когда он заклеймил в обличительной речи супругов Снейл и весь Институт лингвистики, — у нас тогда не случалось таких бесконечных диалогов и откровенных признаний, как когда мы дружили, с 1953 по 1956 год.

А если бы и случались — признался бы он мне честно, дал бы понять, что собирается сделать? Скорее всего, нет. Такие решения, которые по плечу лишь святым и безумцам, обычно не афишируются. Они медленно выковываются в глубинах духа, в расход с рассудком, вдали от

бесцеремонных взглядов, без поиска одобрения других людей — его ждать не приходится, — и наконец воплощаются в жизнь. Мне представляется, что в ходе этого процесса — вызревания плана и претворения его в действие — святой, просветленный или безумец замыкается, возводит вокруг себя стены одиночества, и остальным их не протаранить. Что касается меня, то я и помыслить не мог, что Образинка в наши последние университетские деньки — мы оба были уже взрослыми мужчинами — переживал подобное внутреннее потрясение. Нет, я, конечно, заметил, что он более склонен к уединению, чем прочие смертные; точнее, что он становился все нелюдимее по мере отдаления от подросткового возраста. Но относил это исключительно на счет его лица, которое своим непомерным уродством преграждало ему путь в мир, затрудняло отношения с людьми. Или жизнерадостный, милый, добрый Сауль прежних лет никуда не делся? Все же мне кажется, что он стал молчаливее, серьезнее, принужденнее, что ли. Хотя я не очень-то доверяю памяти. Возможно, он так и оставался улыбчивым и разговорчивым Образинкой, с которым я познакомился в 1953-м, а моя фантазия просто подменяет его, чтобы лучше совпадал с другим,

будущим Саулем, которого я не знал и которого — раз уж я уступил проклятому искушению и взялся писать о нем — должен выдумать.

Однако в том, что касается его внешности и манеры одеваться, память меня не подводит, я уверен. Рыжие волосы, вихрившиеся на макушке, неподвластные расческе, пылали, взвивались, плясали над двойственным лицом, очень бледным и веснушчатым со здоровой стороны. Ровно посаженные глаза, прямые зубы. Высокий, худой; я совершенно точно ни разу, кроме как на церемонии выпуска, не видел его в галстуке. Он всегда ходил в спортивных рубашках из грубого хлопка, поверх которых зимой натягивал какой-нибудь яркий свитер, и в мятых выцветших джинсах. По ботинкам его вряд ли когда пробегалась щетка. Не думаю, что у него были наперсники или действительно близкие друзья. Вероятно, с большинством окружающих его, как со мной, связывали скорее приятельские отношения, теплые, но не глубокие. Знакомых в университете полно, наверняка и в квартале, но я бы поклялся, что никто из этих людей не слышал от него, что с ним происходит и что он собирается делать — если предположить, что он тщательно все спланировал, а не само оно

навалилось на него постепенно, бессознательно, больше под давлением обстоятельств, чем по его выбору. Я много думал о Сауле в последние годы, но, разумеется, мне никогда не узнать, как было в действительности.

III

Потом люди земли пошли прямо к падавшему солнцу. Раньше они оставались на одном месте. Солнце, глаз в небе, было неподвижно. Оно всегда бодрствовало, открытое, смотрело на них и согревало мир. Свет его, хоть и очень сильный, не приносил Тасуринчи беспокойства. Не было вреда, не было ветра, не было дождя. Женщины рожали чистых детей. Если Тасуринчи хотел есть, то окунал руку в воду и доставал бьющуюся дораду, или выпускал стрелу, не целясь, заходил на несколько шагов в лес и вскоре находил убитую пукакунгу, куропатку или трубача. Еды всегда было в достатке. Войны не было. Реки полнились рыбой, а лес — зверьми. Никаких машко не было. Люди земли были сильными, мудрыми, спокойными и дружными. Жили мирно, без гнева. Прежде, чем наступило после.

Уходившие возвращались, облекаясь духом лучших. Получалось, что никто не умирал. «Мне пора уходить», — говорил Тасуринчи. Спускался на берег реки и устраивал себе ложе из сухих листьев и веток с кровлей из пальмы унгураби.

Вокруг ложа поднимал изгородь из заточенного тростника, чтобы капибара, рыская по берегу, не съела его труп. Ложился, уходил и вскоре возвращался, селился в том, кто больше приносил добычи, лучше сражался и соблюдал обычаи. Люди земли жили вместе. Мирно. Смерть не была смертью. Человек уходил и возвращался. Вместо того, чтобы ослаблять, смерть укрепляла, прибавляя тем, кто оставался, мудрости и силы ушедших. «Мы есть и будем, — говорил Тасуринчи. — Кажется, мы не умрем. Те, кто ушел, вернулись. Они здесь. Они — это мы».

Почему же, если они были так чисты, люди земли пошли? Потому что однажды солнце начало падать. Пошли, чтобы не упало ниже, чтобы помочь ему подняться. Так говорит Тасуринчи.

Так, по крайней мере, я узнал.

К тому времени солнце уже успело повоевать с Кашири, луной? Возможно. Оно заморгало, замельтешило, свет погас, и его стало едва видно. Люди начали дрожать и растираться руками. Это был холод. Так началось после, надо думать. В полутьме испуганные, не привыкшие люди попадали в свои же капканы, ели оленину, думая, что едят тапира, и не узнавали дорогу от маниоковой грядки обратно до дома. «Где я? — в отчаянии

думали они, бродя вслепую и спотыкаясь. — Где мои родичи? Что происходит в мире?» Задул ветер. Завывая и размахивая руками, он сшибал верхушки пальм и вырывал с корнем огромные сейбы-лупуны. Шел оглушительный ливень, реки разлились. Пекари захлебывались целыми стадами и плыли вверх копытами по течению. Реки текли вспять, запруды прорывало, лагуны оборачивались реками. Души утратили спокойствие. Смерть перестала быть уходом. И стала смертью. «Нужно что-то делать», — говорили люди. Смотрели вправо, влево и говорили: «Что? Что нам делать?» «Нужно пуститься в путь», — велел Тасуринчи. Кругом была одна темнота и вред. Маниока начинало не хватать, вода смердела. Уходившие уже не возвращались, их отпугивали бедствия, и они навсегда терялись между облачным миром и нашим. Люди чувствовали, как у них под ногами, под землей, бежит густая Камабирия, река мертвых. Как будто приближается, как будто зовет их. Пуститься в путь? «Да, — сказал серипигари, закашливаясь табаком во время дурмана. — Идти и идти. И помните: как только перестанете идти, уйдете навсегда. И солнце за собой утянете».

Так он начался. Поход, путь. Шли в дождь и

не в дождь, по земле и по воде, поднимались в горы и спускались в овраги. Леса были такие густые, что днем в них царила ночь, а равнины походили на лагуны, потому что на них не росло ни кустика, как на голове у человека, которого бесенок камагарини оставил без волос. «Солнце еще не упало, — подбадривал их Тасуринчи. — Оно спотыкается, но подымается. Берегитесь, оно засыпает. Разбудим его, поможем ему». Мы страдали от вреда и смерти, но все шли и шли. Хватит ли всех искр на небе, чтобы сосчитать, сколько лун прошло с тех пор? Нет. Мы живы. Мы движемся.

Чтобы жить на ходу, им, прежде, пришлось стать легкими и избавиться от всего имущества. Им. От жилищ, от животных, от посадок, от бережка, куда они спускались за черепахами с соленым мясом; от леса, кипящего певчими птицами. Взяли только самое нужное и пошли. Был ли поход через лес наказанием? Скорее праздником, как рыбалка или охота в сухой сезон. Они оставили себе луки и стрелы, рога с ядом, трубки с краской из ачиоте, ножи, барабаны, кушмы, в которые были одеты, сумки и полосы ткани, чтобы нести детей. Младенцы рождались на ходу, старики умирали на ходу. Когда начинал брезжить свет,

сплетенные ветви уже шевелились от их шага, они шли, шли, друг за другом, мужчины держали оружие наготове, женщины несли корыта и корзины, и глаза всех и каждого были устремлены к солнцу. Мы все еще не сбились с пути. Видно, упорство сохранило нас чистыми. Солнце не упало, все никак не падает. Уходит и возвращается, как везучие души. Согревает мир. Люди земли тоже не упали. Мы здесь. Я посередине, вы вокруг меня. Я говорю, вы слушаете. Мы живем, мы идем. Видно, это и есть счастье.

Но им, прежде, пришлось жертвовать собой ради здешнего мира. Терпеть бедствия, страдания и вред, какие уничтожили бы любой другой народ.

Как-то раз идущие люди устроили передышку. Ночью рычал ягуар, и владыка грома рокотал глухим голосом. Было много плохих знаков. Бабочки залетали в жилища, и женщинам приходилось отгонять их от мисок с едой, потрясая циновками. Кричали совы и чикуа. «Что-то будет?» — гадали люди в испуге. Ночью река так поднялась, что на рассвете они обнаружили, что окружены бурными водами, полными веток, кустов, сорной травы и трупов, которые разваливались на куски от удара о берег. Они быстро нарубили деревьев, наделали плотов и каноэ, пока наводнение не

успело проглотить островок, оставшийся от земли. Им пришлось пуститься по мутным водам и грести. Они гребли, гребли, и пока одни отталкивались шестами, другие кричали: справа пороги, слева водовороты, а вон там, там, хвост якумамы, гигантской анаконды, она хитрая, тихо дожидается под водой, когда перевернуть каноэ и сожрать гребцов. В глубине леса Киентибакори, хозяин демонов, пил масато и плясал от радости в окружении камагарини. Многие тонули в потоках, когда вырванное с корнями дерево, невидимое под водой, ломало плот и похищало целые семьи.

Такие больше не возвращались. Их разбухшие тела, покусанные пираньями, иногда прибивало к берегу, или их ошметки свисали меж корней дерева над водой. Не следует обманываться. Те, кто уходит так, уходят навсегда. Ведали ли об этом серипигари тогда? Кто знает, появилась ли уже мудрость. Видно, если птицы и звери добираются до оболочки человека, душа его больше не может найти обратную дорогу. Она теряется, превращается в бесенка камагарини и спускается к тем, кто внизу, или превращается в божка саанкарите и поднимается в верхние миры. Поэтому прежде они не доверяли рекам, лагунам, даже мелким

ручейкам. Враждовали с ними. И бороздили воду, только если все остальные дороги были отрезаны. Наверное, не хотели умирать. Говорят, воды вероломны. Если уходишь в воду, умираешь.

Так, по крайней мере, я узнал.

Дно реки на Большой Теснине завалено нашими трупами. Их, должно быть, очень много. Туда их сдуло, и туда они, видно, вернулись умирать. Лежат там внизу и слушают плач воды, которая бьется о камни и рассыпается об острые скалы. Поэтому, наверное, после Теснины, ближе к горам, и нет черепах. Они хорошо плавают, и все равно ни одна не добралась по воде. Те, что пытались, утонули. Тоже, наверное, лежат на дне и слышат, как сотрясается мир наверху. Там мы, мачигенга, начали и там, видно, закончим. В Большой Теснине.

Другие ушли в битве. Биться можно по-разному. Как-то идущие люди сделали передышку, чтобы набраться сил. Они так устали, что едва могли говорить. Выбрали место в лесу, которое показалось им безопасным. Расчистили, построили дома, сплели кровли. Место было высокое, и они думали, что воды, посланные Киентибакори утопить их, дотуда не доберутся, а если доберутся, они их вовремя увидят и убегут. Вырубили и

выжгли лес, посадили маниок и бананы, посеяли маис. Поблизости рос дикий хлопок, годный для кушмы, и табак, запах которого отгонял змей. Попугаи садились людям на плечи и ластились. Детеныши оцелота пили молоко из грудей женщин. Матери уходили глубоко в лес и рожали, купались и возвращались с младенцами, которые шевелили руками и ногами и хныкали, нежась под теплым солнышком. Никаких машко не было. Кашири, луна, еще не приносил вреда; он уже успел побывать на земле и научил людей выращивать маниок. Возможно, оставил там свое дурное семя. Они не знали. Все вроде бы было хорошо.

Однажды ночью летучая мышь укусила Тасуринчи во сне. Вонзила клыки ему в лицо, он отбивался кулаками, но она все не отваливалась. Тогда ему пришлось разорвать ее зубами, полакомиться ее мягкими косточками, липкими, как дерьмо. «Это предупреждение», — сказал Тасуринчи. В чем состояло предупреждение? Никто не понял. Мудрость то ли утратилась, то ли еще не началась. Они не ушли. Остались там и ждали в страхе. Прежде чем выросли маниок и маис, прежде чем народились бананы, пришли машко. Они не заметили, что те идут, не слышали их

барабанов из обезьяньей кожи. Вдруг на них дождем посыпались стрелы, дротики, камни. Вдруг дома заполыхали в пожарах. Прежде чем они начали защищаться, враги срубили много голов, увели много женщин. И унесли все корзины с солью, за которой они поднимались на Гору. Те, кто уходит так, возвращаются или умирают? Кто знает. Наверное, эти умерли. Возможно, их дух придал больше ярости и силы нападавшим. Или до сих пор бродят по лесу, беззащитные.

Кто знает, сколько их не вернулось. Те, кого застрелили из лука, те, кого побили камнями, те, кого взяла трясучка от яда дротиков или плохого дурмана. Всякий раз, как нападали машко и людей становилось меньше, Тасуринчи указывал на небо. «Солнце падает, — говорил. — Мы сделали что-то плохое. Наверное, мы испортились, просидев столько времени на месте. Нужно уважать обычай. Нужно вновь очиститься. Давайте пойдем дальше». И, когда они почти уже совсем исчезали, мудрость возвращалась. Тогда они забывали про свои посадки, про свои дома, про все, что нельзя сложить в сумку. Надевали ожерелья, короны, сжигали все остальное и с песнями и танцами пускались в путь. Снова и снова. И солнце в небесных мирах замедляло свое падение. Вскоре

они начинали чувствовать, что оно просыпается, что оно ярится. «Мы живы», — говорили они. И шли дальше.

Так они однажды добрались до Горы, идущие люди. Она стояла, высокая, чистая, и поднималась к Менкорипаце, белому миру облаков. Пять рек, приплясывая, бежали по соленым камням. Гору окружали рощицы с желтой сухой травой, с горлинками и куропатками-тинаму, с игривыми мышками и муравьями сладкими, как мед. Скалы были из соли, земля была из соли, дно рек тоже было из соли. Люди земли спокойно наполняли сумки, корзины, сети, зная, что соль никогда не иссякнет. Были довольны, наверное. Уходили, возвращались, а соли становилось только больше. Для того, кто за ней поднимался, соль всегда находилась. Многие поднимались. Ашанинка, амуэша, пиро, яминава. Машко тоже поднимались. Гору все знали. Мы приходили, а там уже были враги. Но мы не сражались. Не было войн, не было набегов, одно уважение, говорят. Так, по крайней мере, я узнал. Может, это и правда. Так же, как на водопоях или на кольпах. Разве в этих скрытых в чаще леса местах, где земля соленая, звери, которые приходят ее лизать, дерутся? Разве кто-то видел, чтобы на кольпе

пекари напал на паку, чтобы капибара покусала обезьяну шимбильо? Они ничего друг другу не делают. Встречаются там, и каждый на своем месте спокойно лижет соль, пока не налижется, или пьет воду, пока не напьется. Разве не удача набрести на кольпу или на водопой? Как же легко там охотиться! Звери там рассеянные, доверчивые, занятые солью или водой. Не чуют камня, не удирают от свиста стрелы. Легко даются. Гора была кольпой для людей, великим водопоем. Возможно, она обладала своим волшебством. Ашанинка говорят, что она священная, что там, внутри камня, беседуют духи. Может, так оно и есть, может, беседуют. Они приходили с корзинами и сумками, и никто на них не охотился. Все просто смотрели друг на друга. Всем хватало соли и уважения.

После на Гору стало не зайти. После они остались без соли. После тех, кто поднимался, ловили. Связывали и уводили в лагеря. Чтобы пускать кровь деревьям. Давай, чтоб тебя! После на земле стало много виракоч, они искали и ловили людей. Уводили их, и те пускали деревьям кровь, и таскали на себе каучук. Давай, чтоб тебя! Лагеря были хуже темноты и дождей, хуже времен вреда и времен машко. Нам очень повезло. Разве мы

не идем? Виракочи были хитрые, говорят. Они знали, что люди станут подниматься с корзинами и сетями на Гору за солью. Поджидали их там с ловушками и ружьями. Уводили того, кто попадался. Ашанинка, пиро, амавака, яминава, машко. Им было все едино. Лишь бы у того, кто попался, имелись руки, чтоб пускать дереву кровь, пальцы, чтоб раздвигать рану, вставлять жестянку и собирать его молоко, плечи, чтоб носить комья каучука, и ноги, чтобы бежать с ними в лагерь. Некоторые, наверное, удирали. Очень немногие, говорят. Это было непросто. Нужно было лететь, а не бежать. Сдохни, чтоб тебя! Кто удирал, в того стреляли из ружья. Сдох мачигенга, чтобы его! «Из лагерей бежать бесполезно, — говорил Тасуринчи. — У виракоч свое колдовство. С нами что-то происходит. Наверное, мы что-то сделали. Их духи охраняют, а нас покинули. Мы в чем-то провинились. Лучше проткнуть себя шипом чамбиры или выпить соку кумо. Если уйти так, при помощи шипа или яда, по своей воле, есть надежда вернуться. Тот, кого застрелили из ружья, не возвращается, остается плавать в реке Камабирия, мертвый среди мертвых, навсегда». Казалось, люди скоро исчезнут. Но разве мы не везучие? Мы по-прежнему здесь. Мы все еще

идем. Мы все еще счастливы. Но с тех пор соль с Горы больше не собирали. Так, наверное, Гора и стоит там, высокая-превысокая, и ее чистая душа смотрит солнцу в лицо.

Так, по крайней мере, я узнал.

Тасуринчи, который живет в излучине ручья, а прежде жил в лагуне, где в сухое время года, когда воды отступают, остается столько полудохлых черепах, тоже идет. Я ходил к нему и видел его. Подул в рог издалека, чтобы объявить о своем визите, а когда приблизился, закричал: «Я пришел! Я пришел!» Мой попугайчик повторил: «Я пришел! Я пришел!» Он не вышел мне навстречу, и я подумал, что он перебрался в другое место и я зря проделал такой долгий путь. Нет, он так и жил у излучины ручья. Я встал спиной к дому и начал ждать, когда он меня примет. Ждать пришлось долго. Он был внизу, у реки, выдалбливал ствол, чтобы сделать себе каноэ.

Пока ждал, я наблюдал за его женой. Она сидела недалеко, за ткацким станком, и красила хлопковые нити толченым корнем куркумы. Она не встала и не смотрела на меня. Продолжала работать, как будто я не пришел или стал невидимый. На ней было больше ожерелий, чем в прошлый раз. «Ты носишь столько ожерелий,

чтобы к тебе не могли подобраться бесенята камагарини или чтобы на тебя не навел порчу колдун мачиканари?» — спросил я, но она мне не ответила и дальше красила хлопок, словно не слышала меня. Еще у нее было много украшений на руках, на лодыжках, на рукавах и спереди на кушме. На голове лежала радужная корона из перьев попугая, тукана, кракса и пукакунги.

Наконец появился Тасуринчи. «Я пришел, — сказал я ему. — Ты здесь?» «Я здесь», — ответил он, довольный моим приходом, и попугай повторил: «Здесь, здесь». Тогда его жена встала и развернула две циновки, чтобы мы сели. Принесла горшок только что испеченного маниока, высыпала его на банановые листья, еще принесла кувшин масато. Она тоже, кажется, рада была меня видеть. Мы проговорили не останавливаясь до следующей луны.

Жена беременна, и на этот раз ребенок родится в положенный срок и не уйдет. Так один божок сказал серипигари во время дурмана. И еще передал, что если этот ребенок умрет до рождения, как предыдущие, виновата будет жена, а не какой-нибудь камагарини. На том дурмане серипигари много всего выяснил. Раньше дети рождались мертвыми, потому что она пила зелья,

чтобы они умирали внутри, а она бы их выталкивала раньше срока. «Это правда?» — спросил я у его жены. И она ответила: «Не помню. Может быть. Кто знает». «Да, правда», — заверил меня Тасуринчи. Он предупредил ее, что если в этот раз ребенок родится мертвым, он ее убьет. «Если ребенок родится мертвым, он выстрелит в меня отравленным дротиком и положит у ручья, чтобы меня съели капибары», — подтвердила жена. Она смеялась, ей не было страшно, наоборот, она будто издевалась над нами.

Я спросил у Тасуринчи, почему он так хочет, чтобы она родила. Ребенок его не интересует, его беспокоит сама жена. «Разве не странно, что все дети у нее рождаются мертвыми?» — сказал он. И снова спросил у нее, при мне: «Ты их выкинула мертвыми, потому что пила зелья?» Она повторила: «Не помню». «Иногда я думаю, что она не женщина, а дьяволица, сопай», — признался мне Тасуринчи. Не только мертвые дети наводят его на подозрение, что у нее иная душа. Но и все эти браслеты, ожерелья, короны и прочие украшения. И правда, я никогда не видел, чтобы кто-то носил столько всего на теле и на кушме. Кто ее знает, как она ходит под таким весом. «Посмотри, что она теперь надела», — сказал мне Тасуринчи.

Подозвал ее поближе и стал показывать: погремушки из семян, связки ожерелий из косточек куропатки, зубов капибары, обезьяньих суставов, клыков паки, коконов червей и еще много из чего, не помню. «Она говорит, что эти ожерелья защищают ее от злого колдуна, от мачиканари, — сказал мне Тасуринчи, — но иногда я смотрю на нее, и мне кажется, она сама мачиканари и готовит порчу против кого-то». Она со смехом сказала, что не считает себя ведьмой или дьяволицей, а считает такой же женщиной, как все.

Тасуринчи не боялся остаться один, если придется убить жену. «Лучше жить одному, чем с кем-то, кто может украсть у меня все кусочки души», — пояснил он. Но он думал, что такого не случится, потому что серипигари во время дурмана вызнал, что на этот раз ребенок родится идущим. «Может, так и будет», — сказала его жена со смехом, не подымая глаз от хлопковых нитей. У них все хорошо. Они идут. Тасуринчи дал мне эту сеть из волокон. «Поймаешь рыбу», — сказал он. И еще дал маниока и маиса. «Ты не боишься путешествовать один? — спросил он. — Мы, мачигенга, никогда не переходим реку поодиночке, потому что не знаем, что может встретиться нам в дороге». «Я тоже не один, — ответил я. — Разве

ты не видишь моего попугайчика?» «Попугайчика, попугайчика», — повторил попугайчик.

Я рассказал это все Тасуринчи, который раньше жил на реке Митайя, а теперь живет в чаще у реки Яверо. Он задумался, а потом сказал: «Я не понимаю. Он думает, что его жена сопай, потому что она выкидывает мертвых детей? Эти, стало быть, тоже дьяволицы, потому что рожают не только мертвых детей, но еще и жаб и ящериц иногда. Кто сказал, что если женщина носит много ожерелий, то она злая ведьма? Такая мудрость мне незнакома. Мачиканари — злой колдун, потому что служит выдувателю демонов Киентибакори и потому что камагарини, его бесенята, помогают ему колдовать, а серипигари — добрый колдун, и божки, которых выдул Тасуринчи, помогают ему исцелять вред, снимать порчу и открывать правду. Но и мачиканари, и серипигари носят ожерелья, насколько мне известно».

Жены, слушая его, рассмеялись. Видно, про мертвых детей он неверно сказал, потому что там, в доме на реке Яверо, был целый муравейник ребятишек. «Слишком много ртов», — жаловался Тасуринчи. Раньше, на реке Митайя, в сети всегда попадалась рыба, хотя для маниока земля была негодная. Но там, куда он теперь забрался, далеко

вверх по одной из проток, отходящих от Яверо, рыбы нет. Это темное место, там полно жаб и броненосцев. Земля такая сырая, что растения гниют.

Я всегда знал, что броненосца есть нельзя, потому что у него нечистая мать, он приносит вред и от его мяса тело человека покрывается пятнами. Но они ели броненосцев. Женщины сняли с броненосца панцирь, пожарили мясо, порезали на кусочки. Тасуринчи сам сунул кусок мне в рот. Я проглотил с трудом, потому что знал о броненосце только плохое. Но со мной вроде бы ничего не случилось. Иначе бы я сейчас не шел.

«Почему ты живешь так далеко, Тасуринчи? — спросил я. — Я еле тебя нашел. К тому же здесь недалеко живут машко». «Ты был рядом с моим прежним домом на Митайе и не встретился там с виракочами? — удивился он. — Они там повсюду. Особенно на другом берегу реки».

Чужаки начали ходить по реке, подыматься и спускаться, спускаться и подыматься, много лун назад. Пунаруна, сошедшие с гор, и множество виракоч. Они не просто проходили мимо. Они остались. Сделали себе дома, срубили деревья. Охотятся с ружьями, выстрелы разносятся по лесу. С ними пришли и некоторые идущие люди.

Из тех, что живут наверху, за Большой Тесниной, тех, что перестали быть людьми и отчасти стали виракочами, судя по тому, как они одеваются и говорят. Они пришли помогать им там, на Митайе. И даже к Тасуринчи заглянули. Хотели уговорить, чтобы отправился с ними расчищать лес и таскать камни для дороги, которую прокладывали вдоль берега. «Они ничего тебе не сделают, — обещали они. — Жен своих тоже с собой возьми, будут тебе готовить. Посмотри на нас: разве нам что-то сделали? Теперь все не так, как во времена кровопускания. Тогда виракочи и вправду были дьяволами, они хотели выпустить из нас кровь, как из деревьев, хотели украсть наши души. Теперь все по-другому. С этими можно работать столько, сколько сам хочешь. Тебя кормят, дают нож, дают мачете, дают гарпун для рыбы. Если останешься, ружье дадут».

Те, что раньше были людьми, выглядели довольными, вроде бы. «Мы везучие, — говорили. — Посмотри на нас, потрогай нас. Разве ты не хочешь тоже быть везучим? Тогда учись. Тогда делай как мы». Тасуринчи поддался на уговоры. «Ладно, — сказал он. — Пойду посмотрю». И перешел с ними реку Митайя к лагерю виракоч. И сразу же понял, что попал в ловушку. Его

окружили дьяволы. Как ты это понял, Тасуринчи? Потому что виракоча, который непонятно объяснял ему, что от него требуется, вдруг без стеснения показал ему грязь своей души. А как он это сделал, Тасуринчи? Что произошло? Он у него спрашивал: «Мачете хорошо владеешь?», и вдруг замолк, лицо скривилось, сморщилось. Широко открыл рот и: «Апчхи! Апчхи! Апчхи!» Три раза подряд, кажется. Глаза у него стали мокрые, красные, как огонь. Тасуринчи никогда еще не испытывал такого страха. «Я вижу перед собой камагарини, — подумал он. — Вот же его лицо, вот его звуки. Сегодня я умру». «Это демон, демон», — думал он, и кожа его покрывалась каплями, будто он вылез из воды. Кости затрещали от холода, и он увидел себя изнутри, словно во время дурмана. Пришлось напрячься, как никогда раньше, чтобы сдвинуться с места. Ноги так дрожали, что не слушались. Наконец получилось. Виракоча все говорил, не замечая, что выдал себя. Из ноздрей у него сочилась зеленая слизь. Он говорил так, будто ничего не произошло, говорил, как я говорю сейчас. И, наверное, удивился, когда Тасуринчи бросился от него прочь, не дослушав. Те, что раньше были людьми, пытались перерезать ему дорогу. «Не бойся, с тобой ничего не

случится, — обманывали они его. — Он просто чихает. Они от этого не умирают. У них свои лекарства от чиха». Тасуринчи сделал вид, что поверил, и залез в каноэ: «Ну ладно, я еще приду, вернусь, ждите». Зубы у него все еще стучали, кажется. «Это демоны, — думал он. — Сегодня я умру, наверное».

Едва ступив на свой берег, он созвал жен и детей. «Пришел вред, мы окружены камагарини, — объявил он. — Нам нужно уйти далеко. Пойдемте, может, еще не поздно, может, мы еще сможем идти». Так они и сделали, и теперь живут на этой протоке в чаще у реки Яверо. Он считает, что туда виракочи не доберутся. И машко тоже. Даже машко не приживутся в таком месте. «Только мы, идущие люди, умеем здесь жить», — говорил он с гордостью. Он был рад меня видеть. «Я боялся, ты ко мне сюда не дойдешь». Жены, вычесывая друг другу волосы, повторяли: «Хорошо, что мы сбежали. Что бы иначе стало с нашими душами?» Они тоже, кажется, рады были меня видеть. Мы ели, пили и говорили много лун подряд. Они не хотели, чтобы я уходил. «Как же ты пойдешь, — говорил Тасуринчи, — если ты еще не договорил? Говори, говори, тебе еще много чего есть мне сказать». Его бы воля, я бы до сих

пор сидел на Яверо и говорил.

Он еще не достроил дом. Но уже расчистил землю, нарубил веток и листьев, приготовил солому для кровли. Ему пришлось ходить вниз, потому что там, где он живет, нету ни пальм, ни соломы. Там неподалеку есть юноша, который хочет жениться на одной из его дочерей, и он помогает Тасуринчи найти наверху хорошее место, чтобы посадить маниок. Там прорва скорпионов, и они их выгоняют, окуривая норы. По ночам много летучих мышей, уже покусали одного малыша, который во сне откатился от костра. Тасуринчи говорит, что тамошние летучие мыши вылетают на охоту даже в дождь, а такого нигде больше не бывает. В тех краях, на Яверо, у животных другие привычки. «Я пока еще не все знаю», — сказал мне Тасуринчи. «Жизнь становится труднее, когда меняешь место», — заметил я. «Твоя правда, — ответил он. — Хорошо еще, что мы умеем идти. Хорошо еще, что мы столько времени шли. Хорошо еще, что мы всегда меняли место. Что бы сталось с нами, если бы мы были из тех, кто не двигается? Мы бы исчезли незнамо куда. Так со многими случилось, когда деревьям пускали кровь. Нет слов, чтобы передать, какие мы везучие».

«Когда снова пойдешь в гости к Тасуринчи, напомни ему, что дьявол — это тот, кто говорит „Апчхи!“, а не женщина, которая рожает мертвых детей или носит много ожерелий из бисера», — пошутил Тасуринчи, и жены его расхохотались. И рассказал мне историю, которую я вам сейчас расскажу. Это случилось много лун назад, когда первые Белые Отцы начали появляться по эту сторону Большой Теснины. На той стороне, выше, они уже давно жили. У них были дома в Корибени и Чирумбии, но сюда, вниз по реке, они раньше не приходили. Первый из них, кто прошел Большую Теснину, отправился на реку Тимпия, зная, что там есть идущие люди. Он выучился говорить. Вроде говорил. Было понятно, что он хочет сказать. Он задавал много вопросов. И остался там жить. Ему помогли расчистить землю, построить дом, устроить огород. Он уходил и возвращался. Приносил еду, крючки, мачете. Идущие люди с ним ладили. И вроде бы были довольны. Солнце спокойно оставалось на своем месте. Но из одного путешествия Белый Отец вернулся уже с другой душой, хоть и с тем же лицом. Он стал камагарини и нес вред. Но никто этого не понимал и потому не пускался в путь. Возможно, они утратили мудрость. Так, по крайней мере, я узнал.

Белый Отец лежал на своей циновке и корчил гримасы. «Апчхи! Апчхи!» Когда к нему подходили и спрашивали: «Что с тобой? Почему у тебя так кривится лицо? Что это за звуки?», он отвечал: «Ничего, это пройдет». Вред проник в душу ко всем. К детям, женщинам, старикам. Даже, говорят, к попугаям, краксам, пекари, куропаткам, ко всем их животным. Они тоже взялись: «Апчхи! Апчхи!» Сначала смеялись. Думали, это как веселый дурман. Били себя в грудь и толкались, играли так. И кривили лица: «Апчхи!» Из носа у них шла слизь, изо рта — слюна. Они плевались и смеялись. Но уже не могли пуститься в путь. Прошло время. Их души, разбитые на куски, начали выходить из тела через макушку. Оставалось только смириться с тем, что должно было произойти.

Они чувствовали себя так, будто внутри у них разожгли костер. Они горели и пылали. Купались в реке, но вода не гасила огонь, а только раздувала его. После они чувствовали ужасный холод, будто провели всю ночь под ливнем. Хотя солнце оставалось на месте и смотрело на них желтым глазом, они дрожали, не могли стоять, боялись, не видели того, что видели, не узнавали того, что было им знакомо. Они бесились, догадываясь,

что вред проник им внутрь, как земляная блоха под ноготь. Они не поняли предупреждения, не пустились в путь после первого «Апчхи!» Белого Отца. Даже вши перемерли, кажется. Муравьи, жуки и пауки, которые случайно забредали в те места, тоже умирали, говорят. Никто больше никогда не жил в том краю на реке Тимпия. Хотя теперь уже точно неизвестно, где оно, потому что все снова заросло лесом. Но лучше там не ходить, сделать крюк. Место это можно узнать, если набрел, по белому вонючему дымку и пронзительному свисту. Возвращаются ли души тех, кто ушел так? Кто знает. Может, и возвращаются. А может, остаются плавать в Камабирии, на водной дороге мертвых.

Со мной все хорошо. Я иду. Сейчас со мной все хорошо. Какое-то время назад на меня напал вред, и я думал, что уже пора строить загородку из ветвей у реки. Я шел к Тасуринчи, слепому, который живет в стороне Каширіари. Вдруг, пока я шел, у меня разом началось. Понял я, только когда увидел пятна на ногах. Что это за вред? Что проникло в мое тело? Я шел дальше, но до Каширіари было еще далеко. Когда я сел отдохнуть, меня взяла трясучка. Я огляделся, соображая, что мне делать. Наконец увидел дерево флорипондио

и сорвал с него все листья, какие смог. Сделал отвар и обрызгался. Остудил воду, а потом кинул туда раскаленный докрасна камень, который дал мне серипигари. Дышал над его паром, пока не уснул. Так я много, неизвестно сколько, лун лежал на циновке, и у меня не было сил идти, не было сил даже сесть. По мне ходили муравьи, и я их не сгонял. Если муравей подбирался близко к моему рту, я его проглатывал и тем питался. Сквозь сон я слышал, как попугайчик зовет меня: «Тасуринчи! Тасуринчи!» Я полуспал, полубодрствовал и всегда испытывал страшный холод. Чувствовал большую печаль, наверное.

И тогда появились люди. Я увидел лица, они склонились и смотрели на меня. Один подтолкнул меня ногой, а я не мог ему ответить. Это были не идущие люди. Но и не машко, к счастью. Скорее, ашанинка, потому что я понимал кое-что из их слов. Они рассматривали меня и задавали вопросы, на которые у меня не было сил ответить, хотя я их слышал, издалека. Мне показалось, они спорят, не камагарини ли я. И о том, что нужно делать, если находишь в лесу бесенка. Спорили. Один сказал, сама встреча на пути с таким, как я, принесет вред, и разумнее всего меня убить. Но другие не соглашались. Они долго беседовали

и размышляли. Наконец решили обойтись со мной по-доброму, на мое счастье. Оставили мне маниока, а когда увидели, что у меня нет сил взять его в руки, один сунул мне кусок в рот. Это была не отрава. Это был маниок. Оставшийся они завернули в банановый лист и положили мне в эту руку. Возможно, мне все это приснилось. Не знаю. Но когда я почувствовал себя лучше и силы вернулись, маниок никуда не делся. Я съел его, и попугайчик тоже поел. Я продолжил путь. Шел медленно, то и дело останавливаясь передохнуть.

Когда я добрался до Тасуринчи, слепого, с реки Кашириари, то рассказал, что со мной случилось. Он окурил меня и приготовил отвар из табака. «Это твоя душа разделилась на много кусков, — объяснил он. — Вред вошел в твое тело, потому что его наслал какой-то мачиканари или потому что ты по чистому недомыслию перешел ему дорогу. Твое тело — просто кушма души. Кокон, как у червяка. Когда вред проник внутрь, душа начала защищаться. Она перестала быть единой и разбилась на много душ, чтобы сбить вред с толку. Вред похитил столько душ, сколько смог. Одну, две, несколько. Видно, немного, потому что иначе ты бы совсем ушел. Это хорошо, что тебя

омыли отваром тоэ и ты подышал его паром. Но тебе следовало вести себя хитрее. Тебе следовало натереть себе макушку краской из ачиоте, пока совсем не покраснеет. Тогда вред не смог бы выбраться из твоего тела с грузом душ. Он оттуда выходит, это его дверь. Ачиоте запирает ему дорогу. В плену внутри тела вред теряет силу и умирает. В теле все равно что в домах. Разве демоны, которые заходят в дома, не похищают души через самую высокую часть потолка, через макушку дома? Зачем иначе мы так тщательно переплетаем древесные волокна, когда кроем крышу? Чтобы демон не убежал с душами спящих. С телом то же самое. Ты ослаб, потому что потерял несколько душ. Но они уже вернулись, и поэтому ты здесь. Они, должно быть, удрали от Киентибакори, когда его камагарини отвлеклись. Вернулись к тебе, ты ведь их дом, и нашли тебя на том же месте, пока ты лежал и умирал. Вошли в твое тело, и ты возродился. Теперь все души в тебе воссоединились. Теперь у тебя снова одна душа».

Так, по крайней мере, я узнал.

У Тасуринчи, слепого, который живет в стороне Кашириари, все хорошо. Большую часть времени он ничего не видит, но может чистить огород. Он идет. Говорит, что во время дурмана теперь

видит больше, чем когда был зрячим. Может, ему повезло, что он ослеп. Так он думает. Он приручает вещи, чтобы его слепота приносила меньше вреда ему самому и его семье. Его младший сын, который ползал в прошлый раз, когда я у них был, ушел. Змея ужалила в ногу. Когда заметили, Тасуринчи приготовил ему отвар и сделал все что мог, чтобы спасти его, но уже прошло много времени. Он изменился в цвете, стал черным, как сок уито, и ушел.

Но его родителям случилась радость увидеть его еще раз.

Это было так.

Они пошли к серипигари и сказали, что их очень опечалил уход сына. Попросили: «Разузнай, что с ним, в каком он из миров, — говорили, — и попроси, пусть еще хоть раз нас навестит». Серипигари так и сделал. Во время дурмана его душа, ведомая саанкарите, добралась до реки чистых духов, Мешиарени. Там она нашла мальчика. Саанкарите его выкупали, он вырос, у него был дом, и вскоре он должен был жениться. Серипигари рассказал ему, как грустят его родители, и уговорил нанести им последний визит на земле. Мальчик пообещал и сдержал слово.

Тасуринчи, слепой, сказал, что в дом на Каши-

риари вдруг явился молодой человек, одетый в новую кушму. Все его узнали, хотя он был уже не ребенком, а юношей. Тасуринчи, слепой, понял, что это его сын, по запаху. Он сел с ними, съел кусочек маниока, выпил несколько капель масато. Рассказал про свое путешествие с той минуты, когда его душа покинула тело через макушку. Было темно, но он узнал вход в пещеру, через которую спускаются к реке мертвых душ. Бросился в Камабирию, и поплыл по густым водам, и не тонул. Ему не нужно было двигать руками и ногами. Поток, серебристый, как паутина, медленно нес его. Вокруг него другие души тоже плыли по Камабирии, широкой реке с берегами, возможно, более скалистыми и крутыми, чем на Большой Теснине. Наконец он добрался до места, где воды расходятся и тех, кто спускается в Гамаирони, чтобы страдать, утаскивает за край обрыва с водопадами и водоворотами. Само течение разделяло души. Сын Тасуринчи, слепого, с облегчением убедился, что его уводит от обрыва, и обрадовался, поняв, что поплывет по Камабирии дальше с теми, кто поднимется по реке Мешиарени в верхний мир, мир солнца, Инките. Путь оказался долгим. Ему пришлось пройти через конец этого мира, Оскиахе, куда сливаются все реки. Это бо-

лотистый край, полный чудовищ. Кашири, луна, иногда спускается туда строить свои козни.

Они ждали, пока небо не расчистилось и в водах ясно не отразились звезды. Тогда сын Тасуринчи смог вместе с попутчиками подняться по Мешиарени, которая походила на лестницу из огней, к Инките. Саанкарите устроили к их прибытию праздник. Он съел сладкий плод, от которого вырос, и ему показали дом, где он будет жить. К его возвращению ему должны были подыскать жену. Он, кажется, был доволен в верхнем мире. Про укус змеи не помнил.

«Ты совсем не скучаешь по этой земле?» — спросили его родственники. Немного. Например, по счастью, которое охватывало его, когда мать давала ему грудь. И тогда, рассказал мне слепой с Кашириари, молодой человек попросил разрешения, подошел к своей матери, отогнул ее кушму и очень осторожно стал сосать ее груди, как новорожденный. И у нее пошло молоко? Кто знает. Но он почувствовал себя счастливым, кажется. Попрощался с ними довольный.

Еще ушли обе младшие сестры жены Тасуринчи. Одну поймали пунаруна, которые объявились недалеко от Кашириари, и заставили ее готовить им, и пользовались ею как женой, много лун.

Это случилось в такое время, когда она должна была оставаться чистой, срезать волосы, не есть, ни с кем не разговаривать, и муж не должен был к ней прикасаться. Тасуринчи говорит, что он не стыдил ее за то, что с ней произошло. Но она мучилась от того, что ей выпала такая судьба. «Я не заслуживаю, чтобы со мной говорили, — твердила, — и не знаю, заслуживаю ли жить дальше». Под вечер она тихонько ушла на берег, устроила себе ложе из веток и вонзила в себя шип чамбиры. «Она так печалилась, что я подозревал, чем это кончится», — сказал мне Тасуринчи, слепой. Ее завернули в две кушмы, чтобы стервятники не клевали, и не стали пускать в каноэ по реке или хоронить, а вместо этого повесили на дереве. Это был мудрый поступок, потому что солнечные лучи лижут ее кости утром и вечером. Тасуринчи показал мне место, и я удивился: «Так высоко! Как ты туда забрался?» «Может, я и не вижу, но чтобы залезть на дерево, нужны не глаза, а ноги и руки, а они у меня еще сильные», — ответил он.

Вторая сестра жены Тасуринчи, слепого с Кашириари, упала в овраг, возвращаясь с маниоковых грядок. Тасуринчи послал ее проверить капканы, которые он расставляет вокруг огорода и в которые, говорит он, всегда попадаются

агути. Все утро прошло, а она не возвращалась. Отправились за ней и нашли на дне оврага. Скатилась. Поскользнулась, должно быть, или земля под ногами оползла. Но меня это удивило. Овраг там неглубокий. Кто угодно может туда спрыгнуть или докатиться до дна и не убиться. Наверное, она умерла раньше, и сорвалось вниз уже ее пустое тело без души. Тасуринчи, слепой с Кашириари, говорит: «Мы всегда думали, что она уйдет без объяснений». Она вечно напевала песни, которых никто не слышал. У нее бывали странные приступы, она рассказывала о неведомых краях, и, кажется, животные доверяли ей свои тайны, когда рядом никто не подслушивал. Это признаки того, что скоро уйдешь, по словам самого Тасуринчи. «Теперь, когда эти две ушли, остальным больше еды достается, вот мы везучие», — шутил он.

Он научил самых младших сыновей охотиться. Целый день они у него упражняются на тот случай, если с ним что-то стрясется. Он попросил их показать мне, чему они научились. И верно, они уже владеют луком и ножом, даже те, кто только начинает ходить. Еще они искусно ставят силки и ловят рыбу. «Как видишь, в еде у них недостатка не будет», — сказал Тасуринчи. Мне

нравится его расположение духа. Он такой человек, которого ничто не вгоняет в тоску. Я пробыл у него несколько дней, ходил с ним ставить сети и силки, помогал расчищать огород. Он работал, согнувшись пополам, вырывал траву, как будто видел глазами. Еще мы с ним ходили на лагуну, где водятся огромные сомы, но ничего не поймали. Он не уставал меня слушать. Заставлял повторять одни и те же истории. «Так, когда ты уйдешь, я сам буду себе рассказывать то, что ты мне сейчас рассказываешь», — говорил.

«Как, должно быть, ужасна жизнь тех, у кого, в отличие от нас, нет говорящих людей, — размышлял он. — Благодаря твоим рассказам то, что уже было, как будто заново происходит много раз». Одну из своих дочерей, которая заснула, пока я говорил, он пихнул и разбудил: «Не пренебрегай этими историями, малышка, слушай, — говорил, — узнавай проделки Киентибакори. Запомни, какой вред принесли нам и еще могут принести его камагарини».

Теперь мы многое знаем о Киентибакори, чего они, прежде, не знали. Мы знаем, что у него много кишок, похожих на головастиков инкиро. Мы знаем, что он ненавидит нас, мачигенга. Он не раз пытался нас уничтожить. Мы знаем, что он выдул

все плохое, что существует, от машко до вреда. Острые скалы, темные тучи, дождь, глину, радугу он выдул. И еще вшей, блох, земляных блох, змей ядовитых и прочих, мышей и жаб. Он выдул мух, москитов, комаров, летучих мышей-кровососов и прочих, муравьев и грифов. Он выдул растения, от которых горит кожа, и растения, которые нельзя есть, и красные земли, из которых можно делать кувшины, но нельзя на них сажать маниок. Это я узнал на реке Шиванкорени от серипигари. От того, кто больше всех ведает про все вещи и всех существ, что выдул Киентибакори.

Один раз он едва не уничтожил нас, и вот как это было. Времена изобилия уже прошли. Но времена, когда деревьям пускали кровь, еще не наступили. Было это после изобилия и прежде кровопускания, кажется. Пришел камагарини под видом человека и сказал идущим людям: «Помогать нужно не солнцу. На самом деле в помощи нуждается Каширі, луна, отец солнца». Он долго убеждал их и оставил в раздумьях. Разве солнце, такое сильное, не заставляет плакать тех, кто смотрит на него прямо, не моргая? Что ему помогать? Что оно падает и подымается — его уловка. Каширі же своим мягким добрым светом всегда борется против тьмы, в трудных обстоя-

тельствах. Если бы луна ночью не глядела с неба, темнота стала бы полной, мрак загустел бы: человек падал бы в пропасть, наступал на змею, не мог бы найти свое каноэ, выйти на огород или на охоту. Он жил бы как пленник, на одном месте, и машко могли бы окружить его, застрелить из лука, отрубить голову и похитить душу. Если солнце совсем упадет, наверное, наступит ночь. Но пока есть луна, ночь не будет кромешной, а будет полутемной, и жизнь, кажется, будет продолжаться. Так не должны ли люди лучше помогать Кашири? Им же выгоднее. Если они так будут делать, то луна будет светить ярче, и ночь перестанет быть такой уж ночью, а станет полумраком, в котором можно идти.

Тот, кто говорил эти слова, походил на человека, но на самом деле это был камагарини. Один из тех, кого Киентибакори выдул, чтобы они бродили по миру и сеяли несчастья. Они, прежде, его не узнавали. Несмотря на то, что появился он в разгар сильной грозы, как всегда появляются бесенята. Они, прежде, этого не понимали, наверное. Если кто-то появляется, когда владыка грома рычит и хлещут водяные смерчи, это не человек, это камагарини. Теперь мы знаем. А они тогда еще не научились. Он их убедил. И,

изменив обычаи, они начали делать ночью то, что раньше делали днем, и делать днем то, что раньше делали ночью. Думая, что так Кашири, луна, будет ярче светить.

Едва солнце показывало свой глаз на небе, они уходили под навесы и говорили друг другу: «Пора отдыхать», «Пора разжигать костры», «Пора садиться слушать говорящего». Так они и делали: отдыхали днем или собирались слушать говорителя, пока не начинало темнеть. Тогда они потягивались и говорили: «Наступила пора жить». Ночью они путешествовали, охотились, ночью строили жилища, ночью расчищали землю и пропалывали маниоковые грядки. Они начали привыкать к новой жизни. И уже не могли быть на воздухе, если было светло. От жары у них горела кожа, а солнце слепило их. Они терли глаза и говорили: «Нам ничего не видно, какой ужасный свет, мы его ненавидим». А к темноте их глаза, наоборот, привыкли, и они видели ночью, как вы и я днем. Они говорили: «Все верно, Кашири, луна, благодарит нас за помощь». И перестали называть себя людьми земли, идущими людьми, говорящими людьми. Назвались людьми мрака.

Все было очень хорошо, наверное. Они были довольны, кажется. Жизнь текла без происше-

ствий. Они чувствовали себя спокойно. Те, кто уходил, возвращались, и еды худо-бедно хватало. «Мы мудро поступили», — говорили они. Они, кажется, ошибались. Они утратили мудрость. Все начали превращаться в камагарини, но не подозревали этого. Пока с ними не стало происходить всякое странное. Тасуринчи один раз проснулся весь обросший чешуей, а вместо ног — хвост. Он стал похож на огромную карачаму. Да, на ту рыбу, что может жить в воде и на земле, ту, что плавает и ходит. Он с трудом дополз до лагуны, мрачно бурча, что жить на земле теперь не может, скучает по воде. Тасуринчи через несколько лун встал ото сна, а у него крылья вместо рук. Подпрыгнул и на виду у всех взмыл, а потом исчез меж деревьев, трепеща крыльями, как колибри. У Тасуринчи вырос пятачок, и собственные дети, не узнав его, пришли в неистовство и закричали: «Пекари! Съедим его!» Он хотел сказать им, кто он такой, но только громко хрюкнул и взревел. Пришлось ему удирать. Он неуклюже трусил на четырех ногах, которыми плохо владел, а за ним гнались голодные люди, пускали стрелы и швыряли камни. «Догоним его! Поймаем его!» — говорили.

В этой земле оставалось все меньше людей. Одни превращались в птиц, другие — в рыб, третьи

— в черепах, четвертые — в пауков, и уходили жить жизнью бесенят камагарини. «Что с нами происходит? Что это за несчастье?» — удивлялись те, кто выживал. Им было страшно, они были слепы и ничего не понимали. В который раз они утратили мудрость. «Мы исчезнем», — плакались они. Печалились, наверное. И тогда, во время такого смятения, на них напали машко и устроили большую резню. Многих обезглавили и увели их женщин. Казалось, бедствиям не будет конца. Но одному из отчаявшихся пришла мысль: «Давайте сходим к Тасуринчи».

Это был старый уже серипигари, он жил один, на реке Тимпия, за водопадом. Он молча выслушал их. Пошел с ними к месту их жилья. Гноящимися глазами оглядел беззащитность и беспорядок, царившие в мире. Постился несколько лун, безмолвный, сосредоточенный, размышлял. Приготовил отвары для дурмана. Растолок зеленый табак в ступке, протер его листья сквозь сито, налил к ним воды и кипятил, пока отвар не загустел и не стал пускать крупные пузыри. Растолок корень аяуаски, выжал ее бурый сок, нагрел и остудил. Погасили костер, обложили дом банановыми листьями, чтобы было совсем темно. Серипигари окурил их одного за другим

и запел, и они ответили ему песней. Потом, не прекращая петь, выпил свои отвары. Они с нетерпением ждали. Он все тряс связкой листьев и пел. Они не понимали слов. Наконец, он обратился в духа, его тень скользнула по столбу в центре хижины и вылетела через ту самую дыру в потолке, через которую дьявол уносит души. Вскоре он вернулся. Тело у него было то же самое, но это был уже не он, а саанкарите. Он гневно отчитал их. Напомнил, кем они были прежде, что делали, сколько жертв им выпало с тех пор, как они начали идти. Как они могли поддаться на хитрые уловки вечного врага? Как могли предать солнце ради Кашири, луны? Изменив образ жизни, они потревожили порядок мира, сбили с пути души тех, кто ушел. В темноте, при которой они теперь жили, души их не узнавали, не понимали, заблудились или нет. Поэтому случались несчастья, наверное. Души тех, кто уходил и возвращался, сбитые с толку, снова уходили. Бродили сиротами по лесу, стонали на ветру. Камагарини проникал в пустые тела, оставшиеся без попечения душ, и портил их: поэтому у них вырастали перья, чешуя, пятачки, когти, шипы. Но было еще не поздно. Распад и нечистоту принес дьявол, который жил среди них, наряженный человеком. Они

решили убить его и принялись разыскивать. Но камагарини успел убежать вглубь леса. И тогда они поняли. Устыдились и начали делать так, как делали раньше, и продолжали, пока мир и жизнь не стали такими, каким им и полагается быть. Горюя и раскаиваясь, они пустились в путь. Разве каждый человек не должен делать то, что ему назначено? Разве им не следовало идти и помогать солнцу подниматься? Они выполнили свой долг, наверное. А мы? Выполняем ли мы наш долг? Идем ли? Живем ли?

Из всех видов камагарини, что выдул Киенти-бакори, худший бесенок — это касибаренини, кажется. Он маленький, как ребенок, и если он где-то появляется в своей кушме цвета земли, то значит, там кто-то болеет. Он хочет завладеть душой этого человека и заставить его творить жестокости. Поэтому больных нельзя ни на минуту оставлять одних. Стоит хоть раз отвлечься, как касибаренини тут же воспользуется случаем. Тасуринчи говорит, что с ним так было. Тот, что вернулся, тот, что живет теперь на реке Камисея. Тасуринчи. По его словам, касибаренини виноват в том, что случилось в Шиванкорени, где люди до сих пор не могут этого вспомнить без гнева. Я пошел к нему, на бережок Камисеи, где он выстроил

себе дом. Он испугался при виде меня. Схватился за ружье. «Ты пришел меня убить?» — говорил. «Тише, смотри, у меня и руки пустые». Он не злился, а печалился. «Я пришел навестить тебя, — успокоил я его, — и поговорить с тобой, если захочешь слушать. А если хочешь, чтобы я ушел, я уйду». «Как же я не захочу тебя слушать? — ответил он и развернул две циновки. — Иди сюда, иди. Съешь всю мою еду, забери с собой весь мой маниок. Все мое — твое». Он горько сетовал, что ему не позволяют вернуться в Шиванкорени. Стоит только приблизиться, как бывшие родичи выходят ему навстречу с камнями и стрелами и кричат: «Дьявол! Проклятый дьявол!»

Кроме того, они попросили мачиканари, злого колдуна, наслать на него вред. Тасуринчи застал его: он исподтишка проник в его дом ночью и хотел похитить у него прядь волос или еще что-нибудь, чтобы он заболел и умер ужасной смертью. Он мог бы убить мачиканари, но только спугнул его, выстрелив в воздух. Это, по его словам, доказывает, что его душа снова чиста. «Несправедливо, что меня так ненавидят», — говорит он. Он рассказал мне, что ходил к Тасуринчи вверх по реке, носил ему еду и подарки. Предложил разбить для него новый огород в

лесу и попросил в жены любую из его дочерей. Тасуринчи закричал на него: «Гнида, дерьмо, лицемер, как ты смеешь сюда являться? Я сейчас тебя убью!» И попытался зарубить его мачете.

Он плакал и сетовал на судьбу. Сказал, это неправда, что он дьявол касибаренини под видом человека. Может, когда-то так и было, прежде, какое-то время. Но сейчас он точно такой же, как любой из тех мачигенга из Шиванкорени, что не разрешают ему приближаться. Его несчастья начались с того раза, когда на него напал вред. Он был такой тощий и слабый, что не мог подняться с циновки. Говорить тоже не мог. Открывал рот, а голос не шел. «Наверное, я превращаюсь в рыбу», — думал он, кажется. Но он видел и понимал, что происходило вокруг, в других жилищах Шиванкорени. Он очень испугался, когда заметил, что все в доме снимают браслеты и прочие украшения с запястий, плеч и лодыжек. Он слышал, как они говорят между собой: «Он скоро умрет. Но прежде, чем он уйдет, его дух вытащит из него все жилы, и пока мы будем спать, свяжет нам этими жилами все украшенные части тела». Он хотел их успокоить, сказать, что он никогда так с ними не поступит и что он не умирает. Но голоса не было. И тогда он увидел его, под дождем. Он

бродил по деревне и притворялся невинным ребенком. Мальчик в кушме цвета земли. Он забавлялся, одной рукой перебирая семена дерева флорипондио, а другой изображая биение крыльев колибри. Тасуринчи и не подумал, что это может быть бесенок. Поэтому не встревожился, когда родичи ушли на лагуну рыбачить. Увидев, что тот остался один, касибаренини превратился в муравья и проник в тело Тасуринчи через ноздрю, которой втягивают сок табака. Тасуринчи тут же почувствовал, что излечился от вреда, к нему вернулись силы, и он растолстел. Но также он ощутил необоримое желание сделать то, что он сделал. Не раздумывая, с воплями, колошматя себя в грудь, словно обезьяна, он бросился жечь жилища в Шиванкорени. Он говорит, что это бесенок, а не он, поджигал солому и разносил огонь повсюду, и рычал, и скакал, и веселился. Тасуринчи помнит крики попугаев и удушье в клубах дыма, пока впереди, позади, справа и слева все пылало. Если бы остальные не вернулись, сегодня Шиванкорени не было бы. Он говорит, что, едва завидев людей, пожалел о том, что сделал. Он страшно испугался и удрал, приговаривая: «Что со мной?» Родичи хотели убить его, гнались за ним и кричали: «Дьявол! Дьявол!»

Но, по словам Тасуринчи, это старая история. Того бесенка, что заставил его спалить Шиванкорени, высосал из него серипигари из Корибени: высосал из-под мышки, а потом выблевал. Тасуринчи его видел: он был похож на белую косточку. Он говорит, что с тех пор он снова такой же, как я и как любой из вас. «Как ты думаешь, почему они не пускают меня жить в Шиванкорени?» — спросил он. «Потому что они тебе не доверяют, — пояснил я. — Все помнят тот день, когда ты исцелился только затем, чтобы сжечь их дома. И еще они знают, что ты жил по ту сторону Большой Теснины, среди виракоч». Потому что Тасуринчи был одет не в кушму, а в рубаху и штаны. «Там, среди них, я чувствовал себя сиротой, — сказал он. — Я мечтал вернуться в Шиванкорени. А теперь мои родичи тоже заставляют меня чувствовать себя сиротой. Что же мне, теперь всегда жить одному, без семьи? Единственное, что мне нужно, — это жена, чтобы пекла маниок и рожала детей».

Я пробыл с ним три луны. Он человек мрачный и рассеянный, иногда говорит сам с собой. Тот, кто жил с демоном касибаренини в теле, не может оставаться тем, кем был прежде, наверное. «Возможно, твой визит — это начало перемен, —

сказал он мне. — Может, вскоре идущие люди позволят мне идти с ними». «Кто знает», — ответил я. «Нет ничего печальнее, чем чувствовать себя кем-то, кто уже не человек», — сказал он, когда мы прощались. Когда я уходил по реке Камисея, то оглянулся на него. Он взобрался на пригорок и провожал меня взглядом. Я помнил его грубое, беззащитное лицо, но уже не различал его.

Так, по крайней мере, я узнал.

IV

Я попал в амазонскую сельву в середине 1958 года, благодаря своей подруге Росите Корпанчо. Никто точно не знал, какие обязанности она выполняла в университете Сан-Маркос, но власть ее была безгранична. Росита сновала среди преподавателей, хотя сама не преподавала, и все делали то, что она просила: силой ее умений замшелые двери администрации распахивались, а формальности ускорялись.

— Есть одно место в экспедиции в верховья Мараньона, которую Институт лингвистики организовал для мексиканского антрополога, — сказала она как-то, когда мы столкнулись во дворике гуманитарного факультета. — Не хочешь поехать?

Мне к тому времени досталась долгожданная европейская стипендия, и в следующем месяце я должен был уехать в Испанию. Но я, ни секунды не сомневаясь, принял предложение Роситы.

Росита родом из Лорето, и, если к ней прислушаться, можно различить отголоски сладкого певучего говора, характерного для перуанцев

с востока страны. Она была — и по сей день, без сомнения, является — покровительницей и энтузиасткой Летнего института лингвистики, организации, которая все сорок лет своего существования в Перу остается объектом ожесточенных споров и нападок. Насколько я знаю, сейчас, пока я пишу эти строки, институт собирается перебазироваться в другую страну. Не потому что его закрывают (хотя во времена диктатуры генерала Веласко чуть не закрыли), а по собственной инициативе: сотрудники считают, что выполнили свою миссию, которая некогда привела их в округ Яринакоча, где на берегу Укаяли, в десяти километрах от Пукальпы, они устроили штаб-квартиру, а оттуда добрались практически до всех уголков и закоулков Амазонии.

В чем состоит миссия института? Если верить его врагам, это диверсия американских империалистов, которые под предлогом научных исследований осуществляют разведку и проводят неоколониальную культурную политику среди амазонских коренных народов. Подобные обвинения звучат в основном из уст левых. Но среди противников числятся и отдельные подразделения католической церкви, прежде всего, живущие в сельве миссионеры: они подозрева-

ют, что сотрудники института — на самом деле шайка пасторов-евангелистов, притворяющихся лингвистами. Некоторые антропологи упрекают их в том, что они извращают первобытные культуры, желая привить им западный образ жизни и ввести в рыночную экономику. Консерваторам претит само присутствие института в Перу, по соображениям национализма и превосходства испаноязычной культуры. Одним из таких консерваторов был мой тогдашний учитель и начальник, историк Поррас Барренечеа, который, узнав, что я уезжаю в экспедицию, назидательно промолвил: «Берегитесь! Эти гринго постараются купить вас с потрохами». Он считал недопустимым, что по вине института обитатели Амазонии могут по-английски заговорить раньше, чем по-испански.

Друзья же института, например, Росита Корпанчо, защищали его, прибегая к аргументам прагматики. Труд лингвистов — изучение языков и диалектов Амазонии, составление словарей и грамматик языков различных племен — шел на благо стране и, по крайней мере, теоретически контролировался министерством образования, которое давало добро на все проекты и получало копии всех собранных материалов. Раз уж само

министерство или перуанские университеты не берут эту работу на себя, пусть хоть кто-то сделает ее для Перу. К тому же страна прекрасно пользовалась созданной институтом инфраструктурой, а именно парком гидропланов и системой радиосообщения между базой в Яринакоче и лингвистами, живущими в племенах, — учителя, чиновники и военные из отдаленных поселков в сельве прибегали к ней, и не только в чрезвычайных случаях.

Копья ломаются, и конца этому не видно.

Та экспедиция — всего несколько недель, — в которой мне повезло поучаствовать, произвела на меня такое впечатление, что двадцать семь лет спустя я все еще помню ее в мельчайших подробностях и все еще пишу о ней. Например, сейчас, во Флоренции. Сначала мы были в Яринакоче, разговаривали с лингвистами, а после переместились на довольно большое расстояние, в верховья Мараньона, и посетили несколько стоянок и деревень двух племен группы хиваро: агуаруна и уамбиса. Потом поднялись к озеру Морона, к племени шарпа.

Мы перелетали с места на место на маленьком гидроплане, а кое-где плыли на индейских каноэ по узким ручьям, над которыми так плотно

смыкались ветви, что в разгар дня нам казалось, что сейчас ночь. Сила и одиночество природы — исполинские деревья, бархатистые лагуны, невозмутимые реки — подсказывали, что перед нами первозданный мир, девственный, не тронутый людьми, растительный и животный рай. Добравшись же до племен, мы оказывались в доисторических временах. Мы присутствовали при первобытном, изначальном существовании наших далеких предков: охотников, собирателей, стрелков из лука, кочевников, колдунов, анимистов, не знающих рационального мышления. Только тогда я по-настоящему осознал, что все это — тоже часть Перу: неукрощенный мир, каменный век, магико-религиозные культуры, полигамия, усушивание голов (в одной деревне шарпа на Мороне вождь Тарири объяснил нам через переводчика сложную технологию набивания и вываривания при этом процессе) — словом, брезжущая заря человеческой истории.

Я хорошо помню, что в течение всей экспедиции много думал о Сауле Суратасе. И много говорил о нем с его учителем, профессором Матосом Маром — он тогда тоже ездил с нами, и мы с ним очень сдружились. Матос Мар сказал, что приглашал Сауля, но тот наотрез отказался,

поскольку ему претила работа института.

Путешествие помогло мне лучше понять, почему Образинка был так зачарован этими землями и этими людьми, какой силы впечатление изменило ход его жизни. Но также и снабдило меня конкретными аргументами для споров об амазонских культурах, споров, которые мы с ним вели и раньше, только я тогда руководствовался в большей степени интуицией, чем знанием дела. Почему он считал, что племена нужно сохранить в нетронутом виде, как есть? Во-первых, это попросту невозможно. Все так или иначе — одни медленнее, другие быстрее — заражаются западными, метисными влияниями. Да и благо ли — это эфемерное сохранение первозданности? В чем будет польза, если племена предпочтут свой извечный образ жизни, которого от них и хотят антропологи-пуристы типа Сауля? Понятно же, что из-за этой первобытности они становятся жертвами ужасающего произвола и жестокости.

В деревне Уракуса у агуаруна, куда мы прибыли под вечер, нас, глядящих в иллюминаторы, ждало то же зрелище, что представало всякий раз, когда мы приводнялись во владениях любого племени: толпа полуголых раскрашенных мужчин и женщин вслушивалась в гул мотора и следила за

кружением гидроплана, непрерывно ударяя себя по лицам и по груди (чтобы отпугнуть насекомых). Но в Уракусе, помимо тел медного оттенка, отвисших грудей, детей с животами, вздутыми от паразитов, черных и красных полос на коже, было и еще одно зрелище, и оно до сих пор стоит у меня перед глазами: человек, которого недавно пытали. Местный вождь по имени Хум.

Отряд белых и метисов из Санта-Мария-де-Ньева, фактории на берегах реки Ньева — там мы тоже побывали, жили в католической миссии — явился в Уракусу за несколько недель до нас. В отряд входили все до единого представители гражданских властей поселения, а также один военный из пограничного гарнизона. Хуму, вышедшему их встречать, раскроили лоб. Потом сожгли хижины, избили индейцев, которых смогли поймать, и изнасиловали нескольких женщин. Хума отвезли в Санта-Мария-де-Ньева и подвергли поруганию: обрили. И стали публично пытать. Высекли; сожгли ему подмышки горячими яйцами, а под конец подвесили на дереве, как подвешивают арапайму, чтобы обтекала. Он провисел несколько часов, после чего его сняли и отпустили домой.

Формальная причина этой дикости состояла в

незначительном инциденте, произошедшем в Уракусе между агуаруна и проходившими там солдатами. Глубинная, истинная же — в том, что Хум пытался организовать кооператив в нескольких деревнях агуаруна в верховьях Мараньона. Вождь был человеком целеустремленным и обладал острым умом; лингвист, работавший с агуаруна, предложил ему пройти в Яринакоче курсы двуязычных учителей — существовала такая программа, созданная министерством образования при поддержке института. В Яринакочу привозили людей, подобных Хуму, предположительно подходивших для педагогической работы в племени, и лингвисты и школьные учителя устраивали им тренинг — думаю, довольно поверхностный, — чтобы они могли преподавать своим грамоту на родном языке.

А потом снабжали пособиями и возвращали в деревню, присвоив оптимистичную квалификацию «двуязычный учитель».

Программа в конечном счете не выполнила своей задачи — ликвидации безграмотности среди коренных жителей Амазонии, — но в случае Хума привела к неожиданным последствиям. Оказавшись в Яринакоче и соприкоснувшись с «цивилизацией», он обнаружил — сам или с

помощью своих инструкторов, — что его и соплеменников злостно эксплуатируют патроны, с которыми они вели торговлю. Патроны, местные белые или метисы, периодически объезжали племена, покупали каучук и шкуры, сами при этом назначали цену, вид оплаты (мачете, крючки, одежда, ружья) и стоимость того, чем собирались платить, по собственному хотению. В Ярина-коче Хум понял, что агуаруна, если перестанут иметь дело с патронами и возьмут на себя труд доставлять каучук и шкуры в города — в конторы Ипотечного банка, например, — получат за свой товар гораздо больше. И там же смогут дешевле купить то, что патроны им продавали.

Это открытие — истинная ценность денег — обернулось для агуаруна трагедией. Хум сообщил патронам, что больше с ними не торгует. Тем самым он обрекал их на полное разорение — виракоч из Санта-Мария-де-Ньева, которые так радушно приняли нас недавно. Жалких, полуграмотных, босоногих белых и метисов, живших в почти столь же ужасных условиях, что их жертвы. Беззастенчивое мошенничество в отношении агуаруна отнюдь не давало им обогатиться — они едва выживали. Эксплуатация в этом уголке мира носила почти нечеловеческий характер. Поэтому

в Уракусу направили карательную экспедицию, а Хуму во время пыток повторяли: «Забудь про кооператив!»

Описываемые события произошли чуть ли не накануне нашего приезда. Раны Хума еще гноились. Волосы не отросли. Пока на идиллической полянке посреди Уракусы нам переводили эту историю — Хум едва мог связать пару слов по-испански, — я думал: «Мне нужно обсудить это с Саулем». Что скажет Образинка? Признает ли, что для Уракусы и для Хума, совершенно очевидно, лучше движение не назад, а вперед? То есть образование кооператива, торговля с городами, экономическое и социальное процветание — чтобы «цивилизованные» жители Санта-Мария-де-Ньева не смогли снова учинить подобное над агуаруна. Или Сауль ударится в утопию и в очередной раз заявит, что проблему можно решить, только если виракочи просто уйдут из сельвы и позволят агуаруна вести свою традиционную жизнь?

Мы с Матосом Маром не спали в ту ночь и до утра говорили об истории Хума, и о том, как она высвечивает положение слабого или бедного в нашей стране. В беседе незримо и немо участвовал призрак Сауля Суратаса; нам обоим

хотелось бы, чтобы он сидел рядом, высказывал свое мнение, спорил. Матос Мар считал, что из случившейся с Хумом беды Образинка вынес бы подтверждение собственных тезисов. Разве она не доказывает, что сосуществование невозможно, что оно неизбежно превращается в подавление индейцев виракочами, в постепенное, системное разрушение слабейшей культуры из двух? Эти озверелые пропойцы из Санта-Мария-де-Ньева никогда, ни при каких обстоятельствах, не откроют для агуаруна путь к современности — только к вымиранию; их так называемая «культура» не может претендовать на гегемонию, в отличие от культуры агуаруна, которые, какими бы якобы примитивными они ни были, сумели развить знание и искусство в достаточной степени, чтобы сосуществовать — действительно сосуществовать — с Амазонией. В силу давности пребывания, в силу исторических и этических причин нужно признать за ними суверенитет над этими землями и выгнать всех самозванцев, в частности чужаков из Санта-Мария-де-Ньева.

Я не соглашался с Матосом Маром и думал, что история Хума, возможно, подведет Сауля к более практическому взгляду, к тому, чтобы смириться с меньшим злом. Разве есть хоть крошечная

вероятность, что правительство Перу — любого толка — даст племенам право на экстерриториальность? Разумеется, нет. Почему бы в таком случае не изменить виракоч, чтобы они стали по-другому обращаться с индейцами?

Мы спали на земляном полу, под одной москитной сеткой, в хижине, насквозь пропахшей каучуком (это был местный склад), под звук дыхания наших товарищей и незнакомый гул сельвы. Мы с Матосом Маром в ту пору разделяли социалистические убеждения и восторги, и в ходе беседы, естественно, всплыли пресловутые производственные отношения — палочка-выручалочка, с помощью которой можно было объяснить и разрешить любую проблему. К примеру, проблему агуаруна из Уракусы — и всех других племен — следовало рассматривать как часть общей проблемы, проистекающей из классового строения перуанского общества. При социализме на смену погоне за экономической выгодой, личной наживой, придет осознание того, что стимулом для труда должно являться благо коллектива, в общественные отношения вернутся человечность и солидарность, и вот тогда-то станет возможно сосуществование Перу современного и Перу первобытного, сосуществование,

которое Образинка считал нереальным и нежелательным. В этом новом Перу, вдохновленном учением Маркса и Мариатеги, амазонские племена одновременно модернизируются и сохранят сущность своих традиций и обычаев внутри мозаики культур, каковой предстанет будущая перуанская цивилизация. Мы и вправду верили, что социализм гарантирует целостность нашим магико-религиозным культурам? Разве не набралось к тому моменту достаточно доказательств, что промышленное развитие — капиталистическое или коммунистическое, неважно — роковым образом ведет к их истреблению? Разве из этого чудовищного непреложного закона могло быть хоть одно исключение? Если хорошо поразмыслить и взглянуть с высоты прошедших лет, из этой жаркой Флоренции, мы тогда были не менее безнадежными фантазерами и романтиками, чем Образинка с его архаической, антиисторической утопией.

Долгий разговор с Матосом Маром под москитной сеткой и под какими-то темными сумками, свисавшими с потолка из пальмовых листьев, покачивавшимися и таинственно пропавшими к рассвету (нам потом объяснили, что это были сотни пауков, которые скучиваются подобным

образом по ночам, привлеченные жаром костра в хижине), — один из незабвенных моментов того путешествия. Еще один: пленник из враждебного племени, которого шарпа с озера Морона не связывали, позволяя свободно перемещаться по деревне. А вот его собаку, напротив, держали в клетке под неусыпной охраной. Плененный и пленители, очевидно, одинаково трактовали эту метафору: и с их точки зрения, и с его, пес в клетке препятствовал побегу хозяина, привязывал его к ним крепче — силой ритуала, верования, магии, — чем железная цепь. Еще один: везде преследовавшие нас слухи и сказки об авантюристе, плуте, этаком феодале, японце по имени Тушия, якобы жившем на острове посреди реки Пастаса с целым гаремом девочек, которых он похищал по всей Амазонии.

И все же самое яркое и неотступное воспоминание из того путешествия — воспоминание, которое этим флорентийским вечером полыхает почти так же яростно, как раскаленное летнее солнце Тосканы, — это рассказ двух лингвистов, супругов Снейл. Сначала мне показалось, что я слышу название племени впервые. Но потом я вдруг понял, что это о нем мне столько рассказывал Сауль, это с ним он столкнулся в первой

поездке в Кильябамбу: мачигенга. Тем не менее, мачигенга из историй Снейлов и из историй Сауля, казалось, не имели ничего общего, кроме названия.

Мало-помалу я начал догадываться, почему эти два образа у меня настолько не сходились. Мачигенга, хоть и являлись одним племенем — численностью, очень приблизительно, от четырех до пяти тысяч человек, — были неравномерно связаны с остальным Перу и между собой. Раздробленный народ. Разделительная линия проходила в основном по теснине Майнике и отрезала мачигенга, живших недалеко от предгорий, в холмистом краю, где было много белых и метисов, от восточных мачигенга, обитавших за тесниной, там, где начинается Амазонская низменность. Географическая случайность, узкий проход между скалами, где Урубамба шалеет и полнится пеной, водоворотами и грохотом, отделяла верхних мачигенга, которые контактировали с миром белых и метисов и подверглись процессу аккультурации, от прочих, затерянных в равнинных лесах, существовавших в полной изоляции и сохранявших традиционный уклад в более или менее нетронутом виде. Монахи-доминиканцы построили поблизости от верхних

мачигенга несколько миссий — например, Чирумбию, Корибени, Пантиколью, — а виракочи завели себе фермы, и некоторые мачигенга на них работали. Это были владения знаменитого Фиделя Перейры, и именно этот мир, отданный западному влиянию, имел в виду Сауль, когда говорил о мачигенга.

Другая часть сообщества — хотя можно ли вообще при таких условиях говорить о сообществе? — рассеянная на гигантской территории вдоль русел рек Урубамба и Мадре-де-Дьос, тогда, в конце 50-х годов, еще ревностно оберегала свое уединение и избегала любого общения с белыми. Миссионеры-доминиканцы туда не добирались, а виракоч в тех краях ничего не привлекало — нечем было поживиться. Но даже эта часть демонстрировала неоднородность. Среди самых первобытных мачигенга имелась одна группа, отличавшаяся еще большим архаизмом и враждовавшая с остальными. Их называли когапакори. Они селились на территориях, омываемых двумя притоками Урубамбы, рекой Тимпия и рекой Тикомпиния, ходили совершенно голые — только некоторые мужчины носили футляры для пениса, изготовленные из бамбука, — и нападали на всякого, кто прони-

кал в их земли, даже на соплеменников. Они представляли собой исключение, поскольку, по сравнению со многими соседними племенами, мачигенга были очень мирными. Их мягкий, покладистый нрав сослужил им плохую службу во времена каучуковой лихорадки, превратив в излюбленных жертв настоящей охоты, которую устраивали на индейцев, чтобы обеспечить добычу каучука рабочими руками, — в тот период племя сократилось буквально в десять раз и чуть было не исчезло полностью. По той же причине им всегда доставалось в стычках с их вечными врагами, яминава и машко, особенно с последними, знаменитыми своей воинственностью. Об этих мачигенга говорили Снейлы. Они уже два с половиной года пытались сделать так, чтобы племя их приняло, но до сих пор наталкивались на недоверие, а подчас и враждебность тех групп, с которыми им удалось установить контакт.

Озеро Ярина в час сумерек, когда красная пасть солнца заваливается за кроны деревьев и зеленоватые воды вспыхивают под небом цвета индиго, в котором подмигивают первые звезды, — одна из самых красивых картин, что я видел в жизни. Мы сидели на террасе деревянного дома и наблюдали, поверх голов Снейлов, как темнеет сельва

на горизонте. Невероятный пейзаж. Но все при этом чувствовали себя неловко и подавленно. Потому что Снейлы — оба довольно молодые и такого же спортивного, простодушного, пуританского и прилежного вида, который, словно униформа, был присущ всем лингвистам института, — ничего радостного не рассказывали. Даже антропологи, входившие в группу, — Матос Мар и мексиканец Хуан Комас — оказались поражены тем, в каком печальном, отчаянном, по словам Снейлов, состоянии находилась община мачигенга. По всей видимости, она распадалась, и воспрепятствовать этому было невозможно.

Их почти не изучали. За исключением небольшой книжки, выпущенной в 1943 году священником-доминиканцем, падре Висенте де Сенитагойей, да пары статей других миссионеров о фольклоре и языке мачигенга, напечатанных в журналах ордена, не существовало ни одной серьезной этнографической работы о племени. Они принадлежали к аравакской группе и приходились ближайшими родичами народу кампа, который жил на реках Эне и Перене и на плато Гран-Пахональ, — у их языков были общие корни. Происхождение их терялось в глубинах древности, идентичность ускользала.

Инки, которые нарекли их непонятным словом «анти», вытеснили их с востока Куско, но так и не смогли вторгнуться в их лесные владения и закабалить их; в хрониках конкисты и документах колониальных времен они фигурировали под произвольными наименованиями — манари, опатари, пилькосоны, — пока в XIX веке путешественники не начали называть их так, как они сами себя называли. Первым был француз Шарль Винер, который в 1880 году «нашел два трупа мачигенга, оставленных, согласно ритуалу, у реки», обезглавил их и внес головы в свою коллекцию любопытных находок из перуанской сельвы. С древних времен эти индейцы пребывали в постоянном движении и, вполне вероятно, никогда не жили сообща, большими группами. Воинственные племена, а также белые — в периоды «лихорадок»: каучуковой, золотой, розового дерева, сельскохозяйственной — то и дело прогоняли их во все более нездоровые и бесплодные районы, где выживание в крупном коллективе было попросту невозможно, и это обострило их раздробленность и развило индивидуализм, достойный едва ли не анархистов. Не существовало ни одного селения мачигенга. У них не было вождей, и они, кажется, не знали иной власти,

кроме авторитета отца семейства. Крошечными — максимум десять человек — группками они рассеялись по обширной территории, охватывавшей всю сельву в департаментах Куско и Мадре-де-Дьос. Вследствие скудости этого края семейные ячейки непрерывно переходили с места на место, держась на значительном расстоянии друг от друга, чтобы равномерно истреблять дичь. Из-за эрозии и обеднения почв посадки маниока приходилось переносить не реже, чем через каждые два года.

То, что Снейлам удалось выяснить о мифологии, верованиях и обычаях мачигенга, немного приоткрывало завесу над их историей и показывало, как трудна была их жизнь с незапамятных времен. Бог Тасуринчи, создатель всего сущего, сотворил их своим дуновением, и имен собственных они не имели — только временные, относительные, преходящие обозначения: тот, кто пришел, тот, кто уходит, муж той, что только что умерла, тот, кто вылезает из каноэ, тот, кто родился, тот, кто выстрелил из лука. Из чисел им были известны лишь один, два, три и четыре. Все остальные величины выражались словом «многие». Понятие о рае было очень скромное: место, где в реках есть рыба, а в лесах — звери для охоты.

Они связывали свое кочевничество с движением светил по небосводу. Статистика добровольного ухода из жизни среди них была невероятно высока. Снейлы рассказали нам, что несколько раз видели, как мачигенга, мужчины и женщины, чаще женщины, кончают с собой, вонзая в сердце или в висок шип пальмы чамбира или выпивая отраву, по совершенно пустяковым поводам, например, если они с кем-то поссорились, промахнулись из лука или их отругал родственник. Любая малозначительная неприятность могла толкнуть мачигенга на самоубийство. Как будто воля к жизни, инстинкт выживания почти атрофировались.

Самое легкое заболевание почти наверняка сводило их в могилу. Они испытывали панический ужас перед простудой, как и многие другие племена в Амазонии — всегда страшно пугались, если при них кто-то чихал, — но в отличие от прочих отказывались выздоравливать, если все-таки заболевали. При первом приступе головной боли, кровотечении, порезе собирались умирать. Не принимали лекарства и вообще не лечились. «Зачем, если нам все равно суждено уйти?» — говорили они. К колдунам, или знахарям — серипигари, — обращались, чтобы изгнать

злых духов или поправить ущерб, нанесенный душе, но если недоброе присутствие духов проявлялось через телесную хворь, считалось, что человека уже не спасти. Зачастую больной просто уходил на берег реки, ложился и ждал смерти.

Они проявляли крайнюю подозрительность и недоверие к чужакам; им были свойственны необычайный фатализм и застенчивость. Страдания, которые они претерпели во времена каучуковой лихорадки, когда на них охотились устроители лагерей или индейцы из других племен, таким образом выплачивавшие свой долг хозяевам, оставили отпечаток ужаса на их мифах и легендах о той эпохе — эпохе кровопускания деревьям, как они ее называли. Возможно, как и утверждал миссионер-доминиканец падре Хосе Пио Аса, первый, кто изучил их язык, они являлись последними потомками панамазонской цивилизации (о существовании которой говорят таинственные петроглифы, встречающиеся там и сям по всем верховьям Урубамбы), чей постепенный упадок, начавшийся после столкновения с инками, привел к ее полному исчезновению.

Снейлам стоило огромных трудов установить с ними первый контакт. Лишь через год попыток одному из них — мужу — удалось наконец

попасть в гости к семье мачигенга. Он рассказал нам об этом деликатном опыте: как он, сгорая от волнения и нетерпения, недалеко от истока реки Тимпия, совершенно голый, подошел утром к одинокой хижине из полос коры с соломенной крышей, где уже три раза бывал до этого и оставлял подарки — но никого не заставал, только чувствовал спиной взгляды мачигенга, наблюдавших за ним из чащи, — и увидел полдюжины ее обитателей, которые на сей раз не сбежали от него.

С тех пор Снейлы, вместе или по отдельности, периодически, не очень подолгу жили у этой и других семей из верховий Урубамбы и с ее притоков. Сопровождали их во время сухого сезона, когда мачигенга занимались рыбалкой и охотой, и делали записи, которые дали нам послушать. Похожие на скрип и шелест звонкие звуки с внезапными высокими нотами, иногда перемежавшимися хаотичными горловыми фрагментами, — песни, пояснили Снейлы. Они располагали транскрипцией и переводом одной из этих песен, выполненными миссионером-доминиканцем в 1930-е: четверть века спустя Снейлы сами услышали ее на берегу ручья, отходящего от реки Сепауа. Текст очень точно иллюстрировал то

общее для всех мачигенга состояние духа, которое нам описали. Я даже его скопировал. И ношу сложенным вчетверо в бумажнике, как амулет. Его все еще можно разобрать:

Опампогякена шиношинонкаринци
На меня смотрит печаль
опампогякена шиношинонкаринци
на меня смотрит печаль
огякена кабако шиношинонкаринци
на меня внимательно смотрит печаль
огякена кабако шиношинонкаринци
на меня внимательно смотрит печаль
окисабинцатана шиношинонкаринци
сильно сердит меня печаль
окисабинцатана шиношинонкаринци
сильно сердит меня печаль
амакена тампия тампия тампия
она принесла мне воздух, ветер
огаратинганаа тампия тампия
она подняла во мне воздух
окисабинцатана шиношинонкаринци
сильно сердит меня печаль
окисабинцатана шиношинонкаринци
сильно сердит меня печаль
амаанатьомба тампия тампия
она принесла мне воздух, ветер

окисабинцатенатьо шинонка
сильно сердит меня печаль
шиношинонкаринци
печаль
амакена попьенти погентима погенти
она принесла мне червячка, червячка
тампия тампия тампия
воздух, ветер, воздух.

Снейлы довольно много знали о языке мачигенга, но до того, чтобы овладеть всеми тайнами его строения, им было далеко. Это был архаичный, вибрирующе звонкий, агглютинативный язык, в котором одно слово, составленное из нескольких, могло выражать сложную идею.

Они ждали ребенка и поэтому оставались на базе в Яринакоче. Сразу после рождения первенца они собирались вернуться на Урубамбу. Вне зависимости от того, будет это мальчик или девочка, он вырастет там и заговорит на мачигенга лучше и, возможно, раньше, чем они.

Как и остальные лингвисты института, Снейлы получили диплом в университете Оклахомы, но определяла их не профессиональная принадлежность, а духовный проект: распространение Библии. Я не знаю, к какой именно церкви или деноминации они относились — в институте

были представители самых разных. Изучение первобытных культур имело для них цель в первую очередь религиозную: перевести Библию на индейские языки, чтобы здешние народы вняли слову Господа в ритме и с модуляциями музыки их родного наречия. Именно это намерение сподвигло доктора Питера Таунсенда — любопытного персонажа, то ли миссионера, то ли первопроходца, друга президента Мексики Ласаро Карденаса и автора книги об этом последнем — основать институт и до сих пор подвигает лингвистов на их терпеливый труд. Крепкая, непоколебимая вера, которой человек посвящает всю свою жизнь и ради которой идет на любые жертвы, всегда меня трогала, но и пугала, потому что из нее проистекает как героизм, так и фанатизм, как альтруистические поступки, так и преступления. Что касается лингвистов института, то их вера показалась мне в том путешествии благой. Я до сих пор помню женщину — даже девушку, совсем молодую, — которая вот уже несколько лет жила среди шарпа на озере Морона, и целую семью, поселившуюся у уамбиса: их дети, маленькие рыжие гринго, голышом шлепали по берегу реки вместе с медно-красными ребятишками из племени, и говорили и

плевались точно, как они (уамбиса плюют, чтобы показать, что все ими сказанное — правда. Если человек не сплевывает при разговоре, значит, он лжец).

Да, конечно, в сколь бы примитивных условиях они ни жили в племенах, лингвисты все же были защищены определенной инфраструктурой: гидропланами, радиоприемниками, врачами, лекарствами. Но, так или иначе, глубина их убеждений и способность адаптироваться поражали. Лингвисты, которых мы видели в племенах, ходили одетыми, а не полуобнаженными, но в остальном вели почти такую же жизнь, как местные: спали в таких же хижинах или практически на улице, под хлипким навесом-памакари, так же скудно питались, так же спартански держали себя. Существовала в них и некая предрасположенность к приключениям — тяга к фронтиру, — часто встречающаяся в мышлении американцев, своего рода общий знаменатель для людей самого разного положения и профессии. Снейлы были очень молоды, они только недавно поженились, и, как мы поняли из беседы с ними, считали свое пребывание в Амазонии не чем-то временным, а делом всей жизни.

Их рассказы о мачигенга вспоминались мне

на протяжении всего путешествия по верховьям Мараньона. Мне хотелось поговорить с Саулем, узнать, как он смотрит на свидетельство Снейлов, есть ли ему что возразить. К тому же, я мог бы его удивить. Я ведь выучил текст песни наизусть и собирался повторить ему ее на мачигенга. Я представлял себе его изумление, взрыв радостного хохота…

Племена, к которым мы ездили в верховья Мараньона и на Морону, очень отличались от племен Урубамбы и Мадре-де-Дьос. Агуаруна поддерживали контакты с остальным Перу, и в некоторых их деревнях было невооруженным глазом заметно, что метисация идет полным ходом. Шарпа жили в большей изоляции и до недавнего времени имели славу опасных и агрессивных дикарей — в основном потому что занимались усушиванием голов, — но в них совершенно не чувствовалось упадка духа, того морального коллапса, который описывали Снейлы, говоря о мачигенга.

В последний вечер в Яринакоче перед возвращением в Лиму мы работали с лингвистами. Они подробно расспрашивали Матоса Мара и Хуана Комаса, какие впечатления остались у тех от поездки. После этого собрания я спросил

Эдвина Снейла, не против ли он уделить мне еще какое-то время. Он отвел меня к ним домой. Его жена приготовила нам чаю. Они жили в одной из последних хижин, там, где владения института заканчивались и начиналась сельва. Непрерывный, равномерный, гармоничный звук, издаваемый насекомыми снаружи, аккомпанировал нашей беседе: она длилась долго, и к ней время от времени присоединялась миссис Снейл. Она рассказала мне про речную космогонию мачигенга, где Млечный Путь — это река Мешиарени, по которой бесчисленные боги и божки их пантеона спускаются на землю, а души мертвых поднимаются в рай. Я спросил, есть ли у них снимки семей, в которых они жили. Они сказали — нет. Зато показали множество предметов мачигенга. Тамбурины и барабаны из обезьяньей кожи, тростниковые флейты и нечто вроде свирели из полых стеблей лиан, связанных под углом растительными волокнами, которая, если приложить ее к нижней губе и подуть, производила богатую гамму звуков от крайне пронзительных до глубоких низких. Сита из листьев тростника, разрезанных на полоски и сплетенных косичкой в корзинку, чтобы просеивать маниок для масато. Ожерелья и погремушки из семян, зубов и костей.

Ножные и ручные браслеты. Головные уборы: деревянные обручи с перьями ар и других попугаев, туканов, краксов. Луки, каменные наконечники и рога, где мачигенга хранили кураре для стрел и краску для татуировок. Снейлы зарисовали на картоне несколько узоров, которые индейцы наносили на лица и тела. Узоры были геометрические, некоторые очень простые, а другие — как запутанные лабиринты; зависело, по словам Снейлов, от обстоятельств и от положения человека. Смысл их состоял в том, чтобы привлекать удачу и заговаривать неудачу. Одни полагались холостым, другие — женатым, третьи — тем, кто отправлялся на охоту, а четвертые — непонятно кому. Очень разветвленная и тонкая символика. Была одна фигура — две линии в виде косого креста внутри полуокружности, — которую, по всей видимости, наносили те, кому предстояло вскоре умереть.

И только под конец, когда я уже искал лазейку в разговоре, чтобы вежливо попрощаться, случайно всплыла тема, перекрывающая, с высоты сегодняшнего дня, все остальные, что были затронуты тем вечером, и, несомненно, являющаяся причиной, почему я сейчас посвящаю свои дни во Флоренции не Данте, Макиавелли и искусству

Ренессанса, а воспоминаниям и фантазиям, касающимся этой истории. Я не помню, как мы на нее перескочили. Я задавал множество вопросов, и часть из них, вероятно, касалась колдунов и знахарей мачигенга (которые делились на два вида: добрые, серипигари, и злые, мачиканари). Может, это натолкнуло их на мысль. Или сработала ассоциация, когда я расспрашивал про мифы, легенды, истории, что они собрали в путешествиях. Снейлы мало что знали о колдовстве серипигари и мачиканари кроме того, что и добрые, и злые использовали табак, аяуаску и другие галлюциногенные растения — например, кору кобуинири — в ходе своих сеансов, которые они называли словом, приблизительно переводившимся как «дурман», — его же относили и к банальному опьянению от масато. Мачигенга вообще-то отличались разговорчивостью и были прекрасными информантами, но Снейлы не хотели слишком давить на них и заставлять рассказывать о тайнах колдунов.

— Ну и помимо серипигари и мачиканари, у них есть такой странный персонаж, вроде бы не знахарь и не жрец, — вдруг сказала миссис Снейл. Повернулась к мужу, словно сомневаясь: — Или одновременно чуть-чуть знахарь и чуть-чуть

жрец, да, Эдвин?

— А, ты имеешь в виду… — он нерешительно оборвал фразу. И произнес какое-то звучное, долгое слово с горловыми и цокающими звуками. Умолк, задумался. — Как бы это перевести?

Она прикрыла глаза и поднесла руку ко рту. Светловолосая, голубоглазая, с очень тонкими губами и детской улыбкой.

— Может, беседующий. Или, скорее, говоритель, — сказала она наконец. И тоже произнесла это слово, долгое, хриплое, свистящее.

— Да, — улыбнулся Эдвин Снейл. — Думаю, это ближе всего. Говоритель.

Они сами никогда его не видели. Вследствие крайней тактичности, которой они придерживались из страха рассердить своих информантов, они не просили подробно объяснить им, какую функцию выполняет этот персонаж среди мачигенга, один он или их много, и даже — хотя Снейлы склонны были отмести эту гипотезу — не идет ли речь о каком-то воображаемом существе, вроде Киентибакори, властелина демонов и создателя всего ядовитого и несъедобного, а не о реальном человеке. Так или иначе, все мачигенга произносили слово «говоритель» с необычайным почтением, и всякий раз, как оно вырывалось у

кого-то при Снейлах, остальные тут же меняли тему. Но это вряд ли считалось табу. Словечко то и дело слетало у них с губ, следовательно, говоритель всегда был у всех на уме. Может, он некий начальник или наставник для всей общины? Нет, вроде бы он не осуществлял никакой особой власти над тем разрозненным гигантским архипелагом, какой представляло собой племя мачигенга. В котором, кстати, вообще не было властей. Вот уж в этом Снейлы не сомневались. За исключением касиков, которых им на некоторое время навязывали виракочи, например, в местах относительного скопления семей в Корибени или Чирумбии, устроенных доминиканцами, или в эпоху асьенд и каучуковых лагерей, когда хозяева назначали одного управляющим, чтобы лучше контролировать остальных. Возможно, говоритель отвечал за духовное лидерство, возможно, за какие-то религиозные практики, но по отрывочным упоминаниям, отдельным фразам и репликам, выходило, что функция говорителя заключена как раз в его наименовании: говорить.

С миссис Снейл приключилось нечто странное несколько месяцев назад на берегу реки Компирошиато. Семья мачигенга, у которой она жила, — два старика, один взрослый мужчина,

четыре женщины и девочка — внезапно пропала, не попрощавшись. Ее это очень удивило, потому что раньше мачигенга никогда так не делали. Через несколько дней они в полном составе вернулись так же таинственно, как до этого исчезли. Куда они уходили? «Послушать говорителя», — сказала девочка. Смысл фразы был абсолютно понятен, но больше миссис Снейл узнать ничего не удалось; подробностей никто не рассказал, а сама она побоялась расспрашивать. При этом в последующие дни все восемь человек пребывали в необычайном возбуждении и непрерывно шушукались между собой. И миссис Снейл, видя, как глубоко они погружены в эти сокровенные беседы, понимала, что они вспоминают говорителя.

Снейлы строили догадки, перебирали гипотезы. Говоритель, или говорители, очевидно, служили в племени кем-то вроде почтальонов. Они переходили от одной семьи к другой по всей огромной территории и рассказывали одним, чем занимаются сейчас другие, доносили информацию о происшествиях, приключениях и злоключениях собратьев, с которыми мачигенга виделись очень редко или вообще не виделись. Наименование исчерпывающе определяло их. Они говорили. Их слова являлись связующим эле-

ментом для сообщества, которое ради выживания вынуждено было раскрошиться на маленькие кусочки, рассеяться на все четыре стороны. Через говорителей родители узнавали, как дела у детей, братья — как у сестер, кто умер, кто родился, что еще случилось в племени.

— И еще, — сказал Эдвин Снейл, — у меня такое впечатление, что говоритель излагает не только новости, но и рассказывает о прошлом. Вероятно, он выполняет роль коллективной памяти. Примерно как средневековые барды и хуглары.

Миссис Снейл прервала его: точно это установить трудно. Язык мачигенга — запутанная, сбивающая с толку система; в частности, в нем не очень различаются категории прошлого и настоящего. Так же, как слово «тобайти», «многие», охватывает любые числа больше четырех, слово «сейчас» подразумевает, к примеру, сегодняшний день и вчерашний, а глагол в настоящем времени часто относится к действиям в недалеком прошлом. По-видимому, только будущее четко отделено. Мы плавно переключились на лингвистику, и разговор увяз в куче примеров того, как подчас комично, а подчас тревожно звучит речь, в которой не вполне разграничены «сейчас» и «прежде».

Сама идея, что есть такой человек — или люди, — который совершает многодневные, многонедельные переходы по дремучим лесам Мадре-де-Дьос и востока Куско, несет истории от одних мачигенга к другим, напоминает каждому члену племени, что есть и иные, что, несмотря на огромные расстояния, они — сообщество, что у них одни традиции, одни верования, одни беды и одни радости, сам неуловимый, возможно, легендарный образ этих говорителей, которые при помощи простого и древнего средства (или занятия, потребности, пристрастия человеческого, как угодно) — рассказывания историй — насыщают общину живительным циркулирующим соком и превращают ее в дружный единый народ, глубоко взволновала меня. И волнует до сих пор, когда я о них задумываюсь; даже сейчас, пока я пишу эти строки в кафе «Строцци» в старой Флоренции, у меня, несмотря на удушливый июльский зной, мурашки бегут от трепета при мысли о них.

— А почему у тебя бегут мурашки? — поинтересовался Образинка. — Что тебя в них так привлекает? Что в них особенного, в этих говорителях?

И в самом деле: почему я не мог выкинуть их

из головы с того самого вечера?

— Они живое доказательство того, что рассказывать истории — это не только развлечение, — я сказал первое, что пришло мне на ум, — а что-то первостепенное, от чего зависит само существование народа. Наверное, это поразило меня сильнее всего. Мы же не всегда знаем, почему нас что-то трогает, Образинка. Просто задевает за какую-то тайную струну, и все.

Сауль засмеялся и хлопнул меня по плечу. Я говорил серьезно, но он воспринял мои слова как шутку.

— Ах вот оно что! Ты, значит, заходишь с литературной стороны, — протянул он разочарованно, как будто филологический подход обесценивал мое любопытство. — В любом случае не обольщайся. Это ведь наверняка гринго рассказали тебе историю про рассказчиков историй. А они всегда неверно все толкуют. Я тебя уверяю, гринго понимают мачигенга даже хуже, чем миссионеры.

Мы сидели в кафе на проспекте Испании и ели бутерброды с жареной свининой и бататом. Я пару дней назад вернулся из Амазонии. Сразу же бросился разыскивать Сауля, но сколько бы ни спрашивал в университете и ни оставлял сообще-

ний в «Звезде», он не объявлялся. И я уже боялся, что не успею с ним повидаться до отъезда в Европу, как вдруг, накануне моего рейса в Мадрид, встретил его, выйдя из автобуса на углу проспекта Испании. Мы отправились в эту кафешку, где, по его словам, он намеревался устроить мне такую отвальную с бутербродами со свининой и ледяным пивом, что воспоминание о ней будет сопровождать меня все время, что я проторчу в Европе. Но запомнилось мне тогда совершенно другое: его уклончивые ответы и непонятное равнодушие к теме говорителей мачигенга, которая, как мне казалось, должна была вызвать в нем бурный энтузиазм. Они вправду были ему безразличны? Естественно, нет. Теперь-то я понимаю, что он притворялся и солгал, когда под шквалом моих вопросов заверил меня, что никогда и слыхом не слыхивал про каких-то там говорителей.

Память — чистая ловушка: она подправляет, перекраивает прошлое в зависимости от настоящего. Я столько раз пытался восстановить тот разговор с моим другом Саулем Суратасом в августе 1958 года в забегаловке с продавленными стульями и хромоногими столами на проспекте Испании, что уже ни в чем не уверен, разве что в его огромном кроваво-винном пятне, прико-

вывавшем взгляды посетителей, непокорном рыжеватом вихре, фланелевой рубашечке в красно-синюю клетку и тяжелых ботинках для долгих пеших переходов.

Но моя память точно не могла полностью выдумать суровую речь Образинки против Летнего института лингвистики, которую я словно слышу и сейчас, двадцать семь лет спустя, и мое изумление, когда я почувствовал, каким глухим гневом наполнены его слова. Я никогда не видел его в таком состоянии: он побледнел от бешенства. В тот день я узнал, что мой архангелоподобный Сауль может, как простые смертные, поддаться приступу ярости из тех, что, по представлениям его друзей мачигенга, способны вывести мир из равновесия. Я ему так и сказал, пытаясь отвлечь:

— Ты конец света вызовешь своим бушеванием, Образинка.

Но он и не подумал слушать.

— Они хуже всех, эти твои проповедники-лингвисты. Они проникают в племена, чтобы разрушить их изнутри, прямо как земляные блохи. Влезают в их дух, в их верования, в их подсознание, в корни их образа жизни. Другие отбирают у них жизненное пространство, или эксплуатируют, или загоняют дальше в лес. В

худшем случае убивают физически. А твои лингвисты изощреннее, они желают убить их иначе. Путем перевода Библии на мачигенга! Нет, это же додуматься надо!

Он так разволновался, что я не стал с ним спорить. Несколько раз, пока он говорил, я прикусывал себе язык, чтобы не возразить. Я знал, что в случае Сауля Суратаса претензии к институту не поверхностны и не продиктованы политическими предрассудками, что, какими бы сомнительными они мне ни казались, они отражают взвешенную и обдуманную точку зрения. Почему же деятельность института виделась ему еще более вредной, чем работа бородачей-доминиканцев и испанских монахинь из Кильябамбы, Корибени и Чирумбии?

Он собрался ответить, но тут подошла заправлявшая кафешкой сеньора с очередной порцией бутербродов. Поставив тарелку на стол, она несколько мгновений не двигалась с места и, как завороженная, смотрела на родимое пятно Сауля. Потом развернулась и пошла к плите, крестясь на ходу.

— Ошибаешься, она не видится мне более вредной, — ответил он саркастически и по-прежнему яростно. — Они тоже, конечно, хотят украсть у

них душу. Но миссионеров поглощает сельва, как Артуро Кову в «Пучине». Ты их не видел во время экспедиции? Их раз-два и обчелся, и они полуживые от голода. Совершенно беззащитны и, к счастью, уже не способны ни к какой евангелизации. Изоляция задушила их миссионерский дух. Они просто выживают. Сельва подрубила им крылышки, кум. А если католическая церковь и дальше будет продолжать в том же духе, у нас и на Лиму скоро священников не останется, не только на Амазонию.

А вот лингвисты — нечто совсем иное. За ними финансовые силы, эффективнейший аппарат, и это, возможно, позволит им насадить свой прогресс, свою религию, свои ценности, свою культуру. Изучение языков коренных народов, какая чушь! Зачем? Чтобы амазонские индейцы стали хорошими западными обывателями, хорошими современными гражданами, хорошими капиталистами, хорошими вновь обращенными христианами? Нет, им даже этого не надо! Они просто хотят стереть их культуру, их богов, их институты и исказить самые их сны. Как они и поступили с краснокожими и прочими у себя в стране. Этого я хочу для наших соотечественников в сельве? Чтобы их превратили в то, чем

теперь являются коренные жители Северной Америки? В слуг, в чистильщиков сапог для виракоч?

Он умолк, заметив, что трое за соседним столом прекратили разговаривать и стали вслушиваться в его речь, привлеченные пятном и ажитацией. Здоровая сторона лица у него страшно раскраснелась, рот приоткрылся, нижняя губа выпятилась и дрожала. Я отошел в уборную, хотя мне не нужно было — подумал, мое отсутствие его успокоит. Сеньора за плитой потихоньку спросила у меня: у моего друга с лицом что-то серьезное? Я шепотом ответил, нет, просто родимое пятно, вот как у вас на руке, сеньора. «Бедненький, смотришь — и сердце кровью обливается», — пробормотала она. Я вернулся за столик, Образинка поднял стакан и попытался улыбнуться.

— За тебя, кум! Прости, что я слегка разнервничался.

На самом деле он до сих пор не успокоился, заметно было, что он напряжен и в любой момент может снова взорваться. Я сказал, что при виде выражения его лица мне пришло на ум стихотворение, и прочитал на мачигенга все строки, что помнил из той песни про печаль.

Мне удалось вызвать у него мимолетную улыб-

ку.

— У тебя прекрасный мачигенга, но с легким калифорнийским акцентом, — ехидно сказал он. — Интересно, почему?

Но вскоре он вновь обрушился на предмет своих инвектив. Я нечаянно задел что-то глубоко в нем, что его тревожило и ранило. Он говорил без пауз, как бы задерживая дыхание.

До сих пор это никому не удавалось, но не исключено, что именно лингвисты добьются-таки своего. Все попытки за последние четыреста, даже пятьсот лет потерпели неудачу. Никто так и не покорил маленькие, всеми презираемые племена. Да я, наверное, и сам читал об этом в хрониках, которые вписывал в картотеку у Порраса Барренечеа, правда, кум? Про то, как получалось с инками всякий раз, когда они направляли войска в Антисуйю. Про Тупака Юпанки разве не читал я? Как все его воины сгинули в сельве, как анти просочились у них сквозь пальцы. Ни одного не поработили! И тогда цивилизованные жители Куско решили, что будут их презирать. И напридумывали кучу пренебрежительных слов на кечуа для обозначения амазонских индейцев: мол, дикари, развратники. А что же случилось с самой империей Тауантинсуйю, когда пришлось

иметь дело с более могущественной цивилизацией? То-то же. Варвары из Антисуйю, по крайней мере, остались собой, не так ли? А испанцы — может, им повезло больше, чем инкам? Разве все их «заходы» не окончились полным провалом? Они убивали индейцев, когда удавалось до них добраться, но такое редко случалось. Тысячи солдат, авантюристов, беглых, миссионеров, спустившихся на равнину к востоку от Анд с 1500 по 1800 год, — разве они присоединили хоть одно племя к великой западной христианской цивилизации? Все это для меня ничего не значит?

— Ты мне лучше скажи, что это значит для тебя, Образинка? — сказал я.

— Что эти культуры следует уважать, — ответил он мягко, как будто наконец начал успокаиваться. — А единственный способ их уважать — не приближаться к ним. Не трогать их. Наша культура слишком сильная, слишком агрессивная. Пожирает все, к чему прикасается. Нужно оставить их в покое. По-моему, они с лихвой доказали, что имеют право и дальше быть собой.

— Да ты, оказывается, у нас закоренелый индихенист, Образинка, — подколол я его. — Прямо как в тридцатые годы. Как доктор Луис Валькарсель в молодости, когда он выступал за то, чтобы

снести все колониальные монастыри и церкви в стране, потому что они представляют собой анти-Перу. Так мы, значит, должны возродить Тауантинсуйю? Вместе с человеческими жертвоприношениями, кипу и трепанацией черепа каменным ножом? Как иронично, что последний индихенист в Перу — еврей, Образинка.

— Ну, еврей просто более остальных готов защищать право меньшинств на существование, — ответил он. — В конце концов, как говорит мой старик, проблемы бора, шарпа, пиро — это наши же самые проблемы три тысячи лет назад.

Неужели Образинка так сказал? Или, по крайней мере, можно ли было из его слов вывести подобную идею? Я не уверен. Возможно, это мои более поздние измышления. Сауль не был примерным иудеем и вообще верующим; я много раз слышал от него, что он ходит в синагогу, только чтобы не разочаровать дона Соломона. С другой стороны, такая ассоциация, более или менее укорененная в сознании, казалась вполне логичной. Дома, в школе, в синагоге, от членов еврейской общины, с которыми не мог не пересекаться, он слышал бесчисленные истории о преследовании, о диаспоре, о попытках более могущественных культур подчинить себе веру, язык, обычаи евре-

ев, попытках, которым его народ сопротивлялся ценой многочисленных жертв, — разве все это хотя бы частично не объясняло, почему Сауль так рьяно защищал образ жизни перуанцев из каменного века?

— Нет, я совсем не такой индихенист, как те ребята в тридцатые. Они хотели восстановить Тауантинсуйю, а я прекрасно понимаю, что потомкам инков нет пути назад. Им остается только влиться в общество. Пускай уж это половинчатое перекраивание на западный манер завершится, чем раньше, тем лучше. Для них сейчас это меньшее зло. Вот видишь — я не утопист. Но Амазония — другое дело. Там еще не случилось великой травмы, которая сделала инков народом лунатиков и слуг. Мы сильно поколотили обитателей Амазонии, но они не побеждены. Теперь мы знаем, как жесток прогресс, все эти попытки модернизировать первобытный народ. Они попросту его уничтожают. Давайте же не станем совершать такое преступление. Оставим их в покое с их стрелами, перьями, набедренными повязками. Если подойти к ним и посмотреть с уважением, с толикой симпатии, то поймешь: несправедливо называть их варварами, отсталыми. Для среды, в которой они живут,

для обстоятельств, в которых они находятся, их культуры достаточно. И еще они обладают глубокими и тонкими знаниями, что мы утратили. Об отношениях человека и природы, например. О человеке и дереве, человеке и реке, человеке и земле, человеке и небе. И о человеке и Боге. Этой гармонии между ними и миром нам даже близко не понять — мы давно ее нарушили.

Вот это он точно говорил. Может, не такими словами. Но смысл был именно такой. И про Бога завернул? Да, я уверен, он упомянул Бога, потому что я, помню, удивился и спросил, желая перевести в шутку нечто невероятно серьезное: это что же получается, нам теперь всем тоже начать верить в Бога?

Он долго молчал, опустив глаза. В кафешку залетел шмель и теперь бился о закопченные стены. Сеньора за стойкой не сводила глаз с Образинки. Когда он поднял взгляд, мне показалось, что ему отчего-то неловко. Голос стал глубже:

— Ну, я уже даже не знаю, верю в Бога или нет, кум. Еще одна проблема нашей мощной культуры. Она сделала из Бога нечто, без чего можно обойтись. А для них Бог — это вода, воздух, пища, жизненная потребность, без которой жизнь невозможна. Они духовнее нас, можешь мне по-

верить. Даже мачигенга — хотя они-то как раз по сравнению с остальными вполне материалисты. Вот почему институт наносит им огромный вред: забирает их богов и заменяет своим, абстрактным Богом, который ни на что не сдался им в повседневной жизни. Лингвисты эти — современные сокрушители идолов[9]. У них есть самолеты, пенициллин, вакцины — все, чтобы победить сельву. А поскольку они фанатики, такие случаи, как с теми гринго в Эквадоре, только сильнее их вдохновляют. Ничто так не воодушевляет фанатиков, как мученичество, да, кум?

Несколько недель назад в Эквадоре трое американских миссионеров какой-то протестантской церкви были убиты представителями племени группы хиваро, в котором один из них жил. Двое других оказались на месте событий проездом.

[9] Примечания: 9

Намек на практику «истребления идолопоклонства», существовавшую в колониальных владениях Испании и включавшую разрушение культовых сооружений и образов народов доколумбовой Америки.

Подробностей никто не знал[10]. Обезглавленные трупы застреленных из лука людей обнаружил военный патруль. Хиваро занимались усушиванием голов, поэтому мотив обезглавливания был понятен. Убийство получило большую огласку. Жертвы не имели отношения к Институту лингвистики. Я, заранее догадываясь об ответе, спросил Сауля, что он думает об этих трупах.

— В одном я тебя могу заверить, — сказал он, — их обезглавили без всякой жестокости. Не смейся! Я тебе точно говорю. Никто не хотел причинить им страдания. В этом все племена схожи, как бы сильно ни отличались в остальном. Они убивают только по необходимости. Когда чувствуют угрозу. Когда если они не убьют, то убьют их. Или от голода. Но хиваро — не каннибалы, они не собирались их есть. Эти миссионеры сказали или сделали что-то такое, отчего хиваро почувствовали себя в большой опасности. Грустная история,

---

[10] Примечания: 10

Современная версия событий выглядит так: 8 января 1956 года пятеро американцев, миссионеров-евангелистов, были убиты (при помощи копий) людьми из племени ваорани на востоке Эквадора, когда пытались установить с ними более близкий контакт с целью обращения в христианство. В полном соответствии с мнением Сауля Суратаса, этот случай лишь подогрел энтузиазм миссионеров по всей Южной Америке и расширил полномочия организаций, в частности Летнего института лингвистики. В течение 1960-х годов миссионеры занимались «усмирением» ваорани, проповедуя отказ от насилия.

разумеется. Но не делай поспешных выводов. Ничего похожего на газовые камеры нацистов или атомную бомбу над Хиросимой.

Мы долго там сидели, три или четыре часа. Съели немало бутербродов, а под конец хозяйка угостила нас сладким пудингом из лиловой кукурузы — «это вам от заведения». Пока мы прощались, сеньора, не в силах сдержаться, спросила у Сауля, сильно ли у него болит «эта хвороба».

— Нет, сеньора, к счастью, совсем не болит. Я ее и не замечаю вовсе, — с улыбкой ответил Сауль.

Мы еще прошлись, не меняя нашей основной темы — в этом я тоже уверен. На углу площади Болоньези и бульвара Колумба обнялись на прощание.

— Я должен извиниться, — сказал Сауль, вдруг смутившись. — Трещал там, как попугай, не дал тебе и рта раскрыть. Ты даже не рассказал, какие у тебя планы в Европе.

Мы договорились, что будем переписываться, хотя бы по открытке время от времени, чтобы не потеряться. Я писал ему трижды за последующие годы, но он ни разу не ответил.

В тот день я видел Сауля Суратаса в последний раз. Его образ не тонет и не меркнет в потоке лет. Фон: серый город, пасмурное небо, всепроникаю-

щая влажность лимской зимы. У него за спиной море машин и автобусов, затянутых в воронку вокруг памятника Болоньези, и Образинка со своим пятном, со своими огненными волосами, в своей клетчатой рубашке машет мне и кричит:

— Небось мадридцем к нам вернешься! Будешь шепелявить, как они! Ах да, счастливого пути! Удачи тебе там, кум!

Четыре года я ничего про него не слышал. Ни один из перуанцев, которых заносило в Мадрид или в Париж, где я жил после учебы, не знал, что с ним стало. Я часто его вспоминал, особенно в Испании, и не только потому, что тепло к нему относился, но и из-за мачигенга. История о говорителях, которую мне рассказали Снейлы, все время возвращалась ко мне и не давала покоя. Разжигала мою фантазию и мои желания, словно молодая красавица. Я бывал в университете только по утрам; после обеда обычно сидел в Национальной библиотеке на проспекте Кастельяна и читал рыцарские романы. Однажды я вспомнил, как звали миссионера-доминиканца, который писал про мачигенга: брат Висенте де Сенитагойя. Поискал в каталоге и нашел его книгу.

Прочел залпом. Она была короткая, наивная, и мачигенга, которых добрый монах часто называл

«дикарями» и отечески журил — мол, ведут себя как дети, ленивые, любят выпить и занимаются колдовством («ночными шабашами», писал брат Висенте), — были показаны в ней со стороны и, так сказать, с далекого расстояния, хотя миссионер прожил среди них больше двадцати лет. При этом брат Висенте восхвалял их честность, верность данному слову и деликатность манер. В книге содержались и еще кое-какие сведения, которые помогли мне окончательно принять решение. Мачигенга обладали едва ли не болезненной склонностью к слушанию и рассказыванию историй и были неисправимыми сплетниками. Они не могли спокойно сидеть на месте, не чувствовали никакой привязанности к краю, где жили; ими словно владел демон передвижения. Лес оказывал на них зачаровывающее воздействие. Миссионеры всяческими приманками завлекали их в поселения в Чирумбии, Корибени и Пантиколью. Безуспешно старались их укоренить. Дарили им зеркала, еду, семена, просвещали о преимуществах общинной жизни с точки зрения здоровья, образования, элементарного выживания. Мачигенга вроде бы понимали и соглашались. Строили дома, разбивали огороды, отправляли детей в школу при миссии, а сами,

раскрашенные, очень пунктуально являлись на утреннюю мессу и вечерние молитвы. Миссионеры считали, что поставили их на праведный путь христианской цивилизации. И вдруг, в один прекрасный день мачигенга, не сказав ни «спасибо», ни «до свидания», испарялись в лесу. И ничего не могли с собой поделать: древний инстинкт толкал их на вечные блуждания, рассеивал по девственным чащам.

Тем же вечером я написал Образинке и упомянул книгу падре Сенитагойи. Я признался, что решил написать рассказ о говорителях мачигенга. Не поможет ли он мне? Здесь, в Мадриде, то ли от ностальгии, то ли потому что я все время прокручивал в голове наши с ним разговоры, его идеи перестали казаться мне такими уж абсурдными и неосуществимыми. В любом случае я в своем рассказе приложу все усилия, чтобы показать сокровенную жизнь мачигенга так правдиво, как только возможно. Смею ли я рассчитывать на его помощь, кум?

Я с большим воодушевлением принялся за работу. Но результаты оказались плачевными. Как я мог написать историю о говорителях, не имея даже поверхностного представления о верованиях, мифах, обычаях, истории мачигенга?

Монахи-доминиканцы из обители на улице Клаудио Коэльо оказали мне неоценимую помощь. У них хранилась полная подшивка «Доминиканских миссий», альманаха, публиковавшегося орденом в Перу, и там я обнаружил множество статей о мачигенга, а также невероятно полезные исследования их языка и фольклора, принадлежащие падре Хосе Пио Асе.

Но, возможно, поучительнее всего оказалась беседа с бородатым миссионером в просторной и гулкой библиотеке с высокими потолками, многократно возвращавшей нам эхо наших слов. Брат Элисерио Малуэнда много лет прожил в верховьях Урубамбы и интересовался мифологией мачигенга. Это был бодрый, очень эрудированный старик с диковатыми манерами человека, который провел почти всю жизнь под открытым небом, в тяжелых условиях сельвы. То и дело, словно стараясь произвести на меня впечатление, он перемежал свой мадридский испанский словечками из мачигенга.

Меня совершенно зачаровали его знания о космогонии племени, богатой на симметрию и — как я понимаю только теперь, во Флоренции, впервые читая «Божественную комедию» по-итальянски, — дантовские мотивы. Земля находится

в центре космоса, и над ней и под ней есть еще по два мира. Каждый мир — со своим собственным солнцем, своей луной и своим лабиринтом рек. В самом верхнем мире, Инките, живет Тасуринчи, всемогущий, тот, кто выдул людей, и по этому же миру течет, омывая плодородные берега, Мешиарени, река бессмертия, которую можно увидеть и с земли — для нас это Млечный Путь. Под Инките плавает легкий мир облаков, Менкорипаца, с прозрачной рекой Манаиронччаари. На земле, Кипаче, живут мачигенга, странствующий народ. Под землей лежит мрачный край мертвых, почти целиком покрытый рекой Камабирией, по которой души умерших плывут к своему новому жилищу. И, наконец, есть самый страшный и глубокий мир, где течет черная река Гамаирони, лишенная рыбы, и простираются равнины, лишенные пищи. Над этим миром властвует Киентибакори, создатель нечистот, дух зла и начальник над легионом демонов, камагарини. Солнце каждого мира под Инките тусклее и холоднее, чем в мире предыдущем. В Инките — неподвижное, сияющее, белое. В Гамаирони — темное и ледяное. Ненадежное земное солнце уходит и возвращается, и его выживание мифически связано с поведением мачигенга.

Сколько истины было в этих и других сведениях, которые дал мне брат Малуэнда? Не добавил ли он чего от себя в собранный материал, не адаптировал ли его? Об этом я спросил Образинку во втором письме. И тоже не получил ответа.

Третье я послал где-то год спустя, из Парижа. Я пенял ему на нерушимое молчание и сообщал, что отказался от рассказа о говорителях. Я исписал черновиками целые тетради и просидел долгие часы на площади Трокадеро, в библиотеке и возле витрин Музея человека, силясь понять говорителей, угадать их, но тщетно. Голоса говорителей, выдуманные мной, звучали фальшиво. Я смирился и стал писать про другое. А он, чем он сейчас занимается, как у него дела, чем он интересовался все это время, какими проектами?

И только в конце 1963 года, когда в Париж на конгресс по антропологии приехал Матос Мар, я узнал, куда делся Сауль. Новость повергла меня в совершенное изумление.

— Сауль Суратас уехал в Израиль?!

Мы сидели в баре «Олд Нэйви» в Сен-Жермен-де-Пре, курили и пили грог, чтобы согреться бесконечно печальным, пепельным декабрьским вечером. Я засыпал его вопросами о друзьях и о том, как идут дела в далеком Перу.

— Это из-за отца, кажется, — объяснил Матос Мар, укутанный в такой толстый шарф и такое объемистое пальто, что стал похож на эскимоса. — Дона Соломона, из Талары, ты с ним знаком? Сауль его очень любил. Помнишь, он еще не поехал в Бордо, чтобы не оставлять его одного? Старичку втемяшилось умереть в Израиле, понимаешь ли. И Образинка, конечно же, решил его порадовать, как примерный сын. Они очень быстро все решили, буквально за одну ночь. Когда Сауль мне сказал, они уже продали магазинчик в Бренье, «Звезду», и сидели на чемоданах.

А сам Сауль, хотел ли он в Израиль? Ведь там ему пришлось бы учить иврит, идти в армию, совсем по-другому выстраивать жизнь. Матос Мар предполагал, что из-за пятна его должны освободить от службы. Я попытался припомнить, говорил ли он при мне хоть раз о сионизме или об алие. Ни разу не говорил.

— С другой стороны, может, Саулю на пользу пошло начать все с нуля, — задумчиво произнес Матос Мар. — Наверное, он хорошо там прижился, раз уехал четыре года назад и, насколько я знаю, больше не возвращался в Перу. Мне очень легко представить его в кибуце. В Лиме он по большому счету ничего не делал. Разочаровался в этноло-

гии и в университете — почему, я так и не понял. Диссертацию забросил. И даже, мне кажется, разлюбил мачигенга. «Ты разве не будешь скучать по своим голозадым с Урубамбы?» — спросил я, когда мы прощались. «Думаю, не буду, — сказал он. — Я ко всему привыкаю. К тому же в Израиле наверняка тоже много голозадых».

В отличие от Матоса Мара, я сомневался, что Саулю легко далась алия. Он всем своим существом врос в родную страну, его слишком терзали и возмущали перуанские дела — по крайней мере, одно из них, — чтобы отстраниться от них вот так, стремительно, словно рубашку сменить. Я много раз пытался вообразить его на Ближнем Востоке. Зная его, легко было предположить, что у гражданина Израиля Сауля Суратаса на новой родине возникнут разного рода моральные дилеммы по палестинскому вопросу и спорным территориям. Я приложил мысленное усилие, чтобы увидеть его в новой обстановке, как он коверкает слова, пытаясь говорить на новом языке, осваивает новую профессию — интересно, какую? — и попросил Тасуринчи, чтобы ни одна пуля не задела моего друга Образинку в израильских войнах и приграничных стычках.

V

Озорной камагарини, обернувшийся осой, ужалил Тасуринчи в кончик члена, пока тот мочился. Он идет. Как? Не знаю. Но идет, я сам видел. Его не убили. Он мог лишиться глаз и головы, душа могла покинуть его за то, что он сделал яминава. Ничего с ним не случилось, кажется. У него все хорошо, он идет, он доволен. Не злится, смеется, наверное. «Не из-за чего такой шум поднимать», — говорит. Пока я шел к нему на реку Мишауа, думал: «Я его не найду. Если правду говорят про то, что он сделал, он, наверное, убежал далеко, туда, где яминава его не достанут. А может, они его уже убили, его и его родичей». Но он был на месте, и семья его, и жена, которую он украл. «Так ты здесь, Тасуринчи?» — «Эхе, эхе, я здесь».

Она учится говорить. «Давай поговори, пусть говоритель посмотрит, как ты говоришь», — велел он ей. Яминава говорила так, что почти ничего было не понять, и другие жены смеялись над ней: «Что это за шум мы слышим?» И делали вид, что кого-то ищут. «Что за зверь пролез в

дом?» И поднимали циновки. Они заставляют ее работать и плохо с ней обращаются. «Когда она раздвигает ноги, у нее, наверное, тоже оттуда рыбы выплывают, как у Парени», — говорят. И похуже всякое. Но она учится говорить. Кое-что я понял. «Человек идет», — это я понял.

«Так, значит, это правда. Ты похитил женщину яминава», — заметил я Тасуринчи. Он говорит, что не похитил. Обменял на тапира, мешок маиса и мешок маниока. «Яминава должны радоваться. Это все стоит больше, чем она», — заверил он меня. И спросил у новой жены при мне: «Правильно?» Она согласилась. «Правильно», — сказала. Это я тоже понял.

С тех пор как озорной камагарини ужалил его в член, Тасуринчи должен делать то, к чему на него вдруг нападает охота, неизвестно почему. «Я слышу приказ и должен слушаться, — говорит он. — Исходит он, видно, от божка или от бесенка, от кого-то, кто проник через член и теперь сидит глубоко внутри, а как иначе?» Похитить женщину ему тоже приказали, кажется.

Член у него такой же, как раньше. Но внутри засел какой-то дух, который велит ему быть другим и делать то, чего остальные не понимают. Он показал мне то место, где он мочился, когда

его ужалил камагарини. «Ай! Ай!» — закричал он, запрыгал и больше не мог мочиться. Отогнал осу, и оса засмеялась, кажется. Через некоторое время член начал расти. Каждый вечер, каждое утро он все сильнее вздувался. Все над Тасуринчи смеялись. От стыда он велел, чтобы ему соткали кушму побольше. Прятал его в сумку. Но член все рос и рос, и вот уже его нельзя было спрятать. Он не давал Тасуринчи ходить и волочился, как хвост у зверя. Иногда люди на него наступали, просто чтобы послушать, как он кричит: «Ай! Ататау!» Пришлось Тасуринчи его свернуть и посадить на плечо, как я сажаю попугайчика. Так они и путешествовали, голова к голове, вместе. Тасуринчи с ним разговаривал, все веселее. Тот молчал и внимательно слушал, как вы меня слушаете, и глядел своим огромным глазом. Одноглазый! Кривой! А член все смотрел. Он еще больше вырос. Птицы садились на него и пели, думая, что это дерево. Когда Тасуринчи мочился, из его пасти лился целый водопад горячей воды, пенной, как в Большой Теснине. Тасуринчи в нем мылся, и его семья тоже, наверное. Когда он останавливался отдохнуть, член служил ему сиденьем. Когда ложился спать — ложем. А когда шел на охоту — пращой и копьем. Он мог запу-

стить его в крону дерева и схватить им обезьяну шимбильо, а мог, будто камнем, убить им пуму.

Чтобы очистить Тасуринчи, серипигари обернул его член в листья папоротника, согретые на углях. Всю ночь по глоточку давал ему отвар и пел, а сам пил табак и аяуаску, плясал, улетал через крышу и возвращался, превратившись в саанкарите. Наконец у него получилось высосать вред и выплюнуть его. Вред был желтый, густой и пах пьяной блевотиной. На рассвете член начал опадать и через несколько лун стал прежним карликом. Но с тех пор Тасуринчи слышит приказы. «У какой-то из моих душ капризная мать, — говорит он. — Поэтому вот я и привел себе жену яминава».

Она, кажется, привыкла к новому мужу. Живет себе спокойно на реке Мишауа, как будто всегда была женой Тасуринчи. А остальные, наоборот, бесятся, обзывают ее и чуть что бьют. Я их видел и слышал. «Она не как мы, — говорят, — не человек. Кто знает, кто она такая. Может, обезьяна, может, рыба, которой подавился Каширі». А она жевала себе маниок, будто их не слышала.

Как-то раз она несла кувшин с водой, не заметила ребенка, столкнулась с ним, и он упал. И все на нее накинулись. «Ты это нарочно, ты

хотела его убить», — говорили. Это была неправда, но они так говорили. Она подобрала палку и спокойно встала против них. «Они ее убьют когда-нибудь», — сказал я Тасуринчи. «Она умеет защищаться, — ответил он. — Она даже на зверей охотится, я раньше никогда не видел, чтобы женщины охотились. И нагружается больше всех, когда мы несем маниок с грядки. Я больше боюсь, что она остальных убьет. Яминава — люди боевые, как и машко. И жены их тоже, наверное».

Я сказал, что как раз это и должно его беспокоить. Ему нужно перебраться на новое место как можно скорее. Яминава наверняка в ярости от того, что он сделал. А если они придут мстить? Тасуринчи рассмеялся. Все уже разрешилось, вроде бы. Муж этой яминава приходил к нему с еще двумя мужчинами. Они поговорили, попили масато. Поняли друг друга. Он хотел не жену обратно, а ружье в придачу к тапиру, маису и маниоку. Белые Отцы сказали, что у Тасуринчи есть ружье. «Ищите, — сказал он им. — Найдете — забирайте». Наконец они ушли. Довольные вроде бы. Тасуринчи не вернет жену яминава ее родичам. Потому что она уже учится говорить. «Остальные привыкнут к ней, когда она родит», — сказал Тасуринчи. Дети уже привыкли.

Они разговаривают с ней, как с человеком, как с женщиной, которая идет. «Мама», — говорят.

Так, по крайней мере, я узнал.

Кто знает, принесет ли эта женщина счастье тому Тасуринчи, который живет на реке Мишауа. Может принести и несчастье. Когда Кашири, луна, спустился на землю и женился на женщине мачигенга, это принесло ему несчастье. Так, по крайней мере, говорят. Нам не следовало бы жаловаться, наверное. Несчастья Кашири нас кормят и согревают. Разве луна — не отец солнца?

Это было прежде.

Кашири, сильный и спокойный юноша, скучал на самом верхнем небе, Инките, где еще не было звезд. Люди вместо маниока и банана ели землю. Это была их единственная пища. Кашири спустился по реке Мешиарени. Греб руками, без шеста. Каноэ обходило водовороты и камни. Спускалось по воде. В мире еще было темно и дул сильный ветер. Лило ливмя. У реки Оскиахе, там, где земля соединяется с небесными мирами, где живут чудовища и куда стекаются умирать все реки, Кашири выпрыгнул на берег. Осмотрелся вокруг. Он не знал, где он, но выглядел довольным. Вскоре он увидел ту мачигенга, которой

суждено было принести ему счастье и несчастье: она сидела на циновке и тихонько пела песню, чтобы отпугнуть змею. У нее были раскрашены щеки и лоб, две красные полоски поднимались ото рта к вискам. Значит, она была не замужем; значит, ей предстояло научиться готовить и делать масато.

Чтобы угодить ей, Кашири, луна, показал ей, что такое маниок, что такое банан. Научил, как их сажать, собирать и есть. С тех пор в мире есть еда и масато. Так началось после, кажется. Потом Кашири явился к отцу этой девушки. Он нес в руках множество зверей и рыб, которых поймал для него. Сказал, что может разбить ему огород в верхней части леса, работать там, сеять и полоть, пока маниок не вырастет. Тасуринчи согласился отдать свою дочь. Им нужно было дождаться первой крови у невесты. Кровь все не приходила, и луна тем временем вырубил, выжег и вычистил место под грядки и посадил бананы, маис и маниок для своей будущей семьи. Все шло очень хорошо.

И вот у этой девушки началась кровь. Она сидела взаперти и не разговаривала с родичами. Старуха, которая ее оберегала, не отходила от нее ни днем, ни ночью. Девушка пряла и пряла

хлопковые нити, без отдыха. Ни разу не подошла к огню и не положила в рот перца, чтобы не навлечь бед на себя и своих родных. Ни разу не взглянула на того, кто должен был стать ей мужем, и не сказала ему ни слова. Так продолжалось, пока кровь не прошла. Тогда она обрезала волосы, и старуха помогла ей выкупаться в прохладной воде: она поливала ее тело струйкой из кувшина. Наконец девушка ушла жить к Кашири. Наконец она стала его женой.

Все шло. В мире было спокойно. Стаи попугайчиков пролетали над ними и громко щебетали, довольные. Но в том месте жила еще одна девушка, только она, видно, была не человек, а итони, порочный бесенок. Сейчас она имеет вид горлицы, но тогда приняла облик женщины. Она, кажется, разозлилась, когда увидела подарки Каширы его новым родичам. Ей было обидно, что он стал не ее мужем, не она, значит, родила солнце. Потому что жена луны родила крепкого мальчика, который должен был вырасти и подарить тепло и свет нашему миру. Чтобы все поняли, как она сердита, она раскрасила лицо в красный цвет краской из ачиоте. И пошла на угол дороги, где обычно проходил Каширы, возвращаясь с маниоковых грядок. Села на корточки и опорожнила

тело. Сильно тужилась, вздувалась. Потом погрузила руки в нечистоты и стала ждать, лопаясь от бешенства. Увидев Кашири, она выскочила из-за деревьев и бросилась на него. И, не успел он убежать, вымазала ему лицо своим свежим дерьмом.

Кашири сразу понял, что эти пятна у него никогда не сойдут. Что ему, опозоренному, было делать в этом мире? Опечаленный, он вернулся в Инките, на самое верхнее небо. И там и остался. Свет его угас под этими пятнами. Зато его сын сияет. Разве солнце не светит? Не греет? Мы помогаем ему тем, что идем. «Вставай», — говорим каждую ночь, когда оно падает. Его мать, получается, была из мачигенга.

Так, по крайней мере, я узнал.

Но серипигари из Сегакиато рассказывает эту историю по-другому.

Кашири спустился на землю и издали заметил девушку на реке. Она купалась и пела. Он приблизился и швырнул в нее горсть земли. Попал в живот. Она рассердилась и начала кидать в него камнями. Вдруг пошел дождь. Видно, Киентибакори бродил по лесу, плясал, упившись масато. «Глупая женщина, — говорил ей луна, — я швырнул в тебя землей, чтобы ты родила ребенка». Все

бесенята прятались за деревьями, и веселились, и пердели всласть. Так и случилось. Та девушка забеременела. Но в родах умерла. И ребенок умер. Вроде бы мачигенга тогда разъярились. Вроде бы схватились за стрелы, за ножи. Вроде бы пошли к Кашири и сказали: «Ты должен съесть этот труп», окружили его. Вроде бы угрожали ему луками, давали ему понюхать свои камни. А луна вроде бы сопротивлялся и дрожал. А они: «Съешь ее, ты должен съесть мертвую».

Наконец он с плачем вроде бы вспорол ей живот. Там лежал младенец и сиял. Луна вытащил его, и он ожил, кажется. Стал извиваться и плакать, в знак благодарности. Живой. Стоя на коленях, Кашири начал заглатывать тело своей жены с ног. «Хватит, можешь идти», — сказали ему мачигенга, когда он добрался до живота. И тогда луна, вскинув остатки трупа на плечо, пешком вернулся на самое верхнее небо. Там он и сейчас, кажется, смотрит на нас. Слушает, наверное, меня. Пятна на нем — это те куски, которые он не успел съесть.

Солнце разгневалось из-за того, что сделали с Кашири, его отцом, и перестало уходить. Неподвижно висело и жгло нас. Осушало реки, подпаляло огороды и леса. Убивало зверей

жаждой. «Оно больше никогда не двинется с места», — говорили мачигенга и рвали на себе волосы. Им было страшно. «Нам суждено умереть», — пели, печальные. И тогда серипигари поднялся в Инките. Поговорил с солнцем. Убедил его, кажется. Оно согласилось идти. «Мы пойдем вместе с тобой», — говорят, сказал он ему. Жизнь с тех пор стала такая, как сейчас. Так кончилось прежде и началось после. Поэтому мы продолжаем идти.

«Поэтому у Кашири такой слабый свет?» — спросил я у серипигари с реки Сегакиато. «Да, — ответил он. — Луна — только наполовину человек. Другие говорят, он ел рыбу, и у него кость застряла в горле. С тех пор и угас».

Так, по крайней мере, я узнал.

Когда я шел к Тасуринчи, то заблудился, хоть и знал дорогу. Это, наверное, Киентибакори виноват, или кто-то из его бесенят, или какой-нибудь могущественный мачиканари. Неожиданно пошел дождь, небо перед этим не темнело и воздух не становился густым, как рассол. Я переходил ручей вброд, и лило так сильно, что мне было не вскарабкаться по склону. Я делал два или три шага, оскальзывался, земля под ногами разваливалась в комья, и я падал обратно в воду.

Попугайчик от испуга замахал крыльями, раскричался и улетел. И вдруг берег превратился в поток. Грязь и вода, камни, ветки, кусты, расколотые молнией стволы, трупы птиц и насекомых. Все это летело на меня. Небо почернело, то и дело вспыхивали молнии. Гром был такой, будто все лесные звери зарычали разом. Если владыка грома так гневается, значит, дело серьезное. Я все-таки хотел выбраться из русла. Но не знал, смогу ли. «Если я не влезу на высокое дерево, то уйду, — думал я. — Скоро здесь будет клокотать небесная вода». У меня уже не было сил продвигаться вверх, я изранил руки и ноги, пока соскальзывал вниз по склону. Вода заливала мне нос и рот. Даже через глаза и через анус, должно быть, заливалась вода мне в тело. «Тебе конец, Тасуринчи, твоя душа улетит незнамо куда». И я трогал свою макушку, чтобы почувствовать, как она выходит.

Не знаю, сколько я там карабкался, скатывался, снова карабкался и снова падал. Ручей стал широкой-преширокой рекой, проглотил берега. И я так устал, что уступил воде. «Отдохну, — сказал. — Хватит напрасной борьбы». Но разве те, кто так уходит, отдыхают? Разве утонуть — не худший способ уйти? Вскоре я бы уже плыл по

реке мертвых, Камабирии, к бездне без солнца и без рыб, к миру, который ниже всех, к темному краю Киентибакори. А тем временем мои руки сами вцепились в какой-то ствол, сброшенный в реку грозой, наверное. Не знаю, как я его ухватил. И не уснул ли я в ту же минуту. Солнце упало. В темноте было холодно. Капли на моей спине казались тяжелыми, как камни.

Во сне я понял, в чем ловушка. Ствол мой на самом деле оказался кайманом. С такой-то твердой колючей корой не бывает деревьев. Это шкура на спине каймана, Тасуринчи. Понял ли он, что я завалился к нему на спину? Если бы понял, начал бы бить хвостом, наверное. Или нырнул бы поглубже, чтобы я его отпустил, а потом закусал бы меня, как обычно делают кайманы. Может, он был дохлый? Но тогда он плыл бы лапами кверху. Что тебе делать, Тасуринчи? Тихонько соскользнуть в воду и доплыть до берега? Я никогда бы не добрался дотуда в такую бурю. Даже деревьев больше не было видно. Может, земли и вовсе не осталось. Попытаться убить каймана? Нечем. Пока я сражался со склоном в ручье, потерял сумку, нож и стрелы. Лучше спокойно лечь себе и лежать на спине у каймана. Лучше подождать, пока кто-то или что-то решит за тебя.

Мы плыли, куда нас несла вода. Мне было очень холодно, я дрожал, зубы у меня стучали. «Интересно, где мой попугайчик?» — думал. Кайман не двигал ни хвостом, ни лапами, позволял реке нести себя. Мало-помалу стало рассветать. Грязная вода, трупы животных, ветки, палки от крыш, от домов, от каноэ. Иногда проплывали люди, полуобглоданные пираньями и другим речным зверьем. Надо мной летали тучи москитов, а водяные пауки ходили по мне. Я чувствовал, как они меня кусают. Я очень проголодался и мог бы, наверное, выловить из реки дохлую рыбину, но вдруг кайман заметил бы? Поэтому я только пил. Чтобы утолить жажду, мне не нужно было двигаться, я просто открывал рот. Прохладная дождевая вода лилась прямо в него.

Потом мне на плечо села птичка. Красно-желтым хохолком, перьями, золотистой грудкой, острым клювом она напоминала киригети, дятла. Но, может, это был камагарини. Или саанкарите. Кто видел, чтобы птицы говорили? «Ты в трудном положении, — сказала она скрипучим голоском. — Если ты двинешься с места, кайман тебя заметит. Его косые глазки видят далеко. Он огреет тебя хвостом, оглушит, ухватит за живот зубастой пастью и сожрет. Вместе с костями и

волосами, потому что он так же голоден, как ты. Но разве ты можешь всю жизнь так и плыть на каймане?»

«На что мне твои рассуждения? Я и без тебя это прекрасно знаю, — сказал я ей. — Может, лучше дашь мне совет? Скажи, как мне выбраться из воды?»

«Улететь, — пропела птичка и затрясла своим красно-желтым хохолком. — По-другому никак, Тасуринчи. Как улетел твой попугайчик со склона или как я сейчас». Она подпрыгнула, взмыла вверх кругами и пропала.

Разве легко улететь? Серипигари и мачиканари летают во время дурмана. Но у них есть мудрость. Отвары, божки и бесенята помогают им. А что есть у меня? Только то, что мне рассказывают и что я сам рассказываю. От этого еще никто не летал. Я плыл дальше и проклинал камагарини, принявшего облик киригети, и тут кто-то защекотал мне ступни.

На хвост каймана села цапля. Я видел ее длинные розовые лапы, видел ее изогнутый клюв. Она клевала меня за ноги. То ли приняла их за еду, то ли искала там червяков. Тоже, видно, изголодалась. Я очень боялся, но все равно на меня напал смех. Не смог я сдержаться. Расхохотался. Вот

как вы сейчас хохочете, так хохотал. Извивался и корчился от хохота. Совсем как ты, Тасуринчи. И кайман проснулся. И сразу же понял, что у него на спине что-то творится, а он не видит и не понимает. Он раскрыл пасть, всхрапнул, ударил хвостом, а я, сам не свой, уцепился за цаплю. Как обезьянчик за обезьяну, как младенец за мать, когда она дает ему грудь. Цапля испугалась ударов кайманьего хвоста и хотела улететь. Но не могла, потому что я на ней висел, и от этого кричала. Ее крики еще сильнее пугали каймана, ну и меня тоже. Мы все трое орали, кажется. Кто кого переорет.

И вдруг я увидел внизу, под собой, каймана и грязную реку, а вокруг дул такой сильный ветер, что я едва мог дышать. Да, вот он я. В воздухе, там, наверху. Я, Тасуринчи, говоритель, летел по воздуху. Летела цапля, а я уцепился за ее шею, обвил ноги вокруг ее лап и тоже летел. Внизу над землей вставал день. Повсюду сверкала вода. Эти темные пятнышки — наверное, деревья, эти змейки — реки. Мне раньше никогда не бывало так холодно. Мы что, улетели с земли? И, наверное, попали в Менкорипацу, мир облаков. Но нигде не было видно тамошней реки. Где же она, Манаирончаари, река из хлопка? Я и в самом

деле лечу? Цапля выросла, чтобы меня удерживать. А может, я усох и стал размером с мышь. Кто его знает. Она спокойно махала крыльями, летела, куда нес ветер. Мой вес ее не беспокоил, кажется. Я зажмурился, чтобы не видеть, как далеко осталась земля. Как глубоко, как низко. Печалился о ней, наверное. Когда я снова открыл глаза, то увидел белые крылья, мерные взмахи, розовые опахала. Теплый пух защищал меня от холода. Время от времени цапля курлыкала, вытягивала шею, подымала клюв, как будто сама с собой разговаривала. Так вот какой этот мир, Менкорипаца. Вот куда поднимаются серипигари во время дурмана, вот где, среди облаков, они советуются с божками саанкарите насчет вреда и козней злых духов. Как бы мне хотелось увидеть там, в воздухе, серипигари! «Помоги мне, вытащи меня из этой передряги, Тасуринчи!» — сказал бы ему. Потому что там, в облаках, мне было ничуть не лучше, чем у каймана на спине.

Кто знает, сколько я пролетал на цапле. А теперь что, Тасуринчи? Ты долго не протянешь. У тебя устали руки и ноги. Ты отпустишь цаплю, в воздухе твое тело распадется на кусочки, и на землю ты прольешься уже водой. Дождь перестал. Поднималось солнце. Это придало мне

бодрости. Держись, Тасуринчи! Я стал пинать и колотить цаплю, биться головой, даже кусаться, чтобы заставить ее спуститься. Она не понимала. Испугалась, перестала курлыкать, закричала, затрясла клювом. Закувыркалась, затанцевала, вот так, вот так, чтобы меня сбросить. Чуть не сбросила. Несколько раз я едва не расцепил руки. И вдруг понял, что, когда я дергаю ее за крыло, мы падаем, как будто она спотыкается в воздухе. Это меня и спасло, наверное. Из последних сил я обхватил одно ее крыло ногами и обездвижил его. Оно теперь почти не трепыхалось. Держись, Тасуринчи! И тогда случилось, как я хотел. На одном крыле, хоть и била им быстро-быстро, цапля уже не могла лететь, как раньше. Устала, начала спускаться. Все ниже и ниже, и все кричала и кричала. Наверное, отчаялась. А я, наоборот, был счастлив. Земля приближалась. Ближе, ближе, как тебе повезло, Тасуринчи. Вот она. Когда мы задели за верхушки деревьев, я соскочил с цапли. Пока падал, смотрел, как она поднимается, курлычет, машет радостно обоими крыльями, взмывает. Я то и дело ударялся и оцарапывался. Бился о ветки, ломал их, сдирал кору с деревьев и чувствовал, что сам тоже ломаюсь. Пытался зацепиться руками, ногами. «Везет обезьянам,

вот бы и мне хвост, чтобы подвиснуть», — думал. Листья и веточки, лианы, вьюнки, паутина, папоротники замедлили мое падение, наверное. Когда я долетел до низа, то не убился от удара, думаю. Как радостно почувствовать землю всем телом! Она была мягкая, теплая. И еще влажная. Эхе, я здесь, я добрался. Это мой мир. Этой мой дом. Больше всего мне повезло, что я живу здесь, на земле, а не в воде, не в воздухе.

Когда я открыл глаза, надо мной стоял Тасуринчи, серипигари. «Твой попугайчик давно тебя ждет», — сказал он мне. И вправду, вот он, мой попугайчик, покряхтывает. «Откуда ты знаешь, что он мой? — посмеялся я. — В лесу много попугаев». «Этот на тебя похож», — ответил Тасуринчи. Да, это точно был он. Разболтался, так был рад меня видеть. «Ты проспал не знаю сколько лун», — сказал мне серипигари.

«Со мной столько всего приключилось по дороге, пока я к тебе шел, Тасуринчи. Нелегко было добраться. Я бы никогда не справился, если бы не кайман, киригети и цапля. Может, ты мне объяснишь, как это возможно?»

«Тебя спасло то, что ты не злился во время своего приключения», — ответил он, когда я рассказал ему то, что только что рассказал вам. Наверное,

так и есть. Гнев — это неполадка в мире. Если бы люди не сердились, жизнь была бы лучше, чем она есть. «Гнев виноват в том, что на свете есть кометы, качиборерине, — уверил меня Тасуринчи. — Вечно они мечутся и своим огненными хвостами угрожают перепутать все четыре мира вселенной».

Вот история Качиборерине.

Это было прежде.

Комета сначала была юношей мачигенга. Молодым, спокойным. Он шел. Был доволен, наверное. Его жена умерла и оставила ему сына, который вырос здоровым и сильным. Он воспитал его, а потом снова женился, на младшей сестре той жены, что потерял. Однажды он вернулся с рыбалки, наловив мелких рыбешек бокичико, и застал сына взгромоздившимся на свою вторую жену. Оба стонали, очень довольные. Качиборерине, обеспокоенный, отошел от хижины. «Мне нужно раздобыть женщину моему сыну, — думал. — Ему, видно, пора жениться».

Пошел посоветоваться к серипигари. Тот поговорил с саанкарите и вернулся: «Единственное место, где ты можешь достать жену своему сыну, — это край, где живут чончойте, — сказал. — Но будь осторожен! Сам знаешь почему».

Качиборерине отправился туда, прекрасно зная, что чончойте затачивают себе зубы ножами и едят человечину. Как только он пришел в их край, как только пересек лагуну, за которой те места начинаются, как почувствовал, что земля поглощает его. Кругом стало темно. «Я упал в цеибаринци», — подумал он. И точно, он провалился в яму, которую прикрывают ветками и листьями, а внизу ставят копья, чтобы на них насаживались пекари и тапиры. Чончойте достали его оттуда, помятого и дрожащего от страха. На них были маски бесов, а под масками виднелись голодные пасти. Они были довольны, обнюхивали его и лизали. Везде ему совали свои носы и языки. И недолго думая выпустили ему кишки, как рыбе. И положили их печься на горячих камнях. Пока чончойте, одурев от радости, ели его кишки, полупустая оболочка Качиборерине сбежала и переплыла лагуну.

По дороге домой он приготовил отвар табака. Он, наверное, тоже был серипигари. Во время дурмана узнал, что его жена варит зелье с ядом кумо, чтобы его убить. Все еще не поддаваясь гневу, Качиборерине отправил ей сообщение с посланником. «Почему ты хочешь убить своего мужа? — сказал посланник. — Не делай этого.

Он много страдал. Приготовь ему лучше отвар, чтобы у него снова выросли кишки, съеденные чончойте». Она слушала и не отвечала, только украдкой смотрела на сына Качиборерине, который стал теперь ее мужем. Они жили вместе и были очень довольны.

Вскоре Качиборерине вернулся домой. Он устал после долгой дороги и печалился из-за своей неудачи. Жена подала ему сосуд. Желтоватая жидкость была похожа на масато, но на самом деле это была маисовая чича. Он сдул пенку сверху и стал жадно пить. И вся жидкость вылилась наружу вперемешку с кровью, потому что от тела Качиборерине осталась только пустая шкура. Он заплакал и понял, что теперь у него внутри ничего нет, он человек без кишок и без сердца.

И тогда он разгневался.

Полил ливень, засверкали молнии. Все бесы, должно быть, повылезали в лес и заплясали. Жена в страхе бросилась прочь из дома. Побежала, спотыкаясь, вверх, к огороду. И там спряталась в стволе дерева, которое ее муж выдолбил для каноэ. Качиборерине искал ее и яростно кричал: «Я ее на куски разорву!» Спрашивал, где она, у маниока на маниоковых грядках, но маниок не знал, как ответить, и Качиборерине вырывал его

из земли. Спрашивал у магуны, у флорипондио. «Мы не знаем». Ни одно дерево, ни одно растение не говорило ему, где она. Тогда он срубал их мачете и топтал ногами. В глубине леса Киентибакори упивался масато и плясал от радости.

Наконец Качиборерине изнемог в поисках и, слепой от ярости, вернулся домой. Взял бамбуковую палку, раздробил один ее конец, окунул в смолу дерева охее и поджег. Когда огонь разгорелся, он засунул другой конец палки себе в зад, поглубже. Смотрел на землю, смотрел на лес, вертелся и рычал. Задыхаясь от гнева, он указал на небо и прокричал: «Куда бы мне уйти из этого поганого мира? Пойду вверх, может, мне там будет лучше!» И стал подниматься все выше и выше, уже превратившись в дьявола. И с тех пор он там. Иногда мы видим его в Инките, Качиборерине, комету. Лица его не разглядеть. Тела тоже. Только горящую палку в заднице. Так он и гневается до сих пор, наверное.

«Хорошо еще, что ты не наткнулся на него, когда летел на цапле, — посмеялся надо мной Тасуринчи, серипигари. — А то он сжег бы тебя своим хвостом, пожалуй». По его словам, Качиборерине иногда спускается в этот мир забирать трупы мачигенга с берегов. Закидывает их на

спину и с ними поднимается в небо. А там превращает их в блуждающие звезды, говорят.

Так, по крайней мере, я узнал.

В том краю, где мы с ним разговаривали, много-много светлячков. Пока я беседовал с Тасуринчи, серипигари, стемнело. Лес то вспыхивал в одном месте, то гас в другом, то снова вспыхивал в третьем. Как будто подмигивал нам. «Я не знаю, как ты можешь тут жить, Тасуринчи. Я бы не смог. Я много хожу и много чего видел среди идущих людей. Но я точно нигде не видел столько светлячков. Все деревья заискрили. Это ли не дурная примета? Каждый раз после визита к тебе я дрожу, вспоминая этих светлячков. Они как будто смотрят на нас, слушают, что я тебе говорю».

«Конечно, они на нас смотрят, — заверил меня серипигари. — Конечно, они внимательно тебя слушают. Как и я, они ждут твоего прихода. Радуются, когда видят тебя, радуются твоим историям. У них хорошая память, в отличие от меня. Я теряю мудрость, а вместе с ней и силы. А они как были молодые, так и остались. Когда ты уйдешь, они будут развлекать меня, напоминать мне истории, которые они от тебя услышали».

«Ты надо мной смеешься, что ли, Тасуринчи? Я бывал у многих серипигари и ото всех слышал

что-то необыкновенное. Но ни один из них не беседовал со светлячками».

«А я вот беседую, — сказал Тасуринчи, посмеиваясь моему удивлению. — Чтобы слышать, нужно уметь слушать. Я научился. Иначе давно бы уже перестал идти. Вспомни, у меня раньше была семья. Все ушли, всех убил вред, или река, или молния, или ягуар. Как можно вытерпеть столько несчастий? Только слушая, говоритель. Сюда, в этот закоулок леса, никто никогда не приходит. Изредка какой-нибудь мачигенга с ручьев ниже по течению, если ищет помощи. Приходит, уходит, и я снова остаюсь один. Никто меня тут не убьет: нет такого виракочи, машко, пунаруна или демона, который бы сюда забрался. Но жизнь одинокого человека быстро кончается. Что мне было делать? Злиться? Отчаиваться? Пойти на берег реки и проткнуть себя шипом чамбиры? Я стал размышлять и вспомнил про светлячков. Мне тоже было от них тревожно, как и тебе. Почему их так много? Почему нигде в лесу их не собирается столько, как здесь? Во время дурмана я это выяснил. Спросил у духа саанкарите, вон там, у крыши моего дома. „Может, это из-за тебя? — сказал он. — Может, они собрались, чтобы ты был не один. Человеку, чтобы идти,

нужна семья“. Я тогда задумался. И стал с ними говорить. Чувствовал себя странно — беседую с мигающими огоньками, которые мне не отвечают. „Я узнал, что вы здесь, чтобы составить мне компанию. Божок мне объяснил. Я по глупости раньше не понимал. Я благодарю вас, что вы пришли и окружаете меня“. Минула ночь, и еще одна, и еще одна. Всякий раз, когда темнело и лес покрывался огоньками, я очищался водой, приготовлял табак, отвары, и говорил со светлячками, и пел. Всю ночь я им пел. И, хоть они и не отвечали, слушал их. С вниманием. С уважением. Вскоре я удостоверился, что они меня понимают. „Ясно, ясно. Они, значит, испытывают терпение Тасуринчи“. Молча, неподвижно, спокойно, с закрытыми глазами, я ждал. Слушал их, не слыша. Наконец, много ночей спустя, это случилось. Вот оно, вот. Звук, не похожий на остальные звуки в лесу, когда темнеет. Слышишь? Шепотки, шорохи, стоны. Водопад тихих голосков. Они кружатся, как водовороты, эти голоски, сталкиваются, пересекаются, их едва слышно. Слушай, слушай, говоритель. Поначалу всегда так. Невнятный гул голосов. А потом начинаешь понимать. Я видно, завоевал их доверие. Вскоре мы уже беседовали. Теперь они мои родичи».

Так оно и было, кажется. Они привыкли к Тасуринчи. Теперь они беседуют ночи напролет. Серипигари рассказывает им про идущих людей, а они рассказывают ему свою всегдашнюю историю. Они недовольны, светлячки. Раньше, наверное, были довольны. Они утратили счастье много лун назад, хотя по-прежнему светятся. Потому что все здешние светлячки — самцы. В этом их несчастье. Их самки — огоньки на небе. Да, звезды в Инките. Почему они там, в верхнем мире, а самцы здесь? По словам Тасуринчи, сами они рассказывают такую историю. Посмотрите, посмотрите на них. Огоньки зажигаются и гаснут, видите? Может, это они так говорят. Может, прямо сейчас, вокруг нас, они рассказывают друг другу, как потеряли своих жен. Они не устают об этом говорить, замечает Тасуринчи. Только и делают, что вспоминают свое несчастье и клянут Кашири, луну.

Вот история светлячков.

Это было прежде.

Тогда все они жили одной семьей, у самцов были свои самки, у самок — свои самцы. Был мир, была еда, а тех, кто уходил, Тасуринчи выдувал обратно.

Мы, мачигенга, тогда еще не шли. Луна жил

среди нас и был женат на женщине мачигенга. Он, ненасытный, с нее не слезал. Обрюхатил ее, и родилось солнце. Кашири все не отставал от жены. Серипигари его предупредил: «В этом мире и в верхних мирах случится вред, если будешь продолжать в том же духе. Дай своей жене отдохнуть, не будь таким прожорливым». Кашири не послушался, и мачигенга испугались. Солнце утратит свет, подумали они. Земля станет темной и холодной, и жизнь постепенно исчезнет, наверное. Так и произошло. Вдруг начались страшные потрясения. Мир задрожал, реки вышли из берегов, из Большой Теснины поднялись чудовища и опустошили многие края. Идущие люди, сбитые с толку, по дурному совету жили ночью и избегали дня, чтобы угодить Кашири. Потому что луна завидовал своему сыну и ненавидел солнце. Неужели нам было суждено умереть? Как видно, да. И тогда Тасуринчи подул. Потом еще подул. И еще. Он не убил Кашири, но пригасил его, и теперь тот светит тусклым светом. И отправил обратно в Инките, откуда он спустился, чтобы найти себе жену. Так началось после.

Но солнце, чтобы отцу не было одиноко, предложило: «Возьми себе кого-нибудь для компании, кого хочешь». И Кашири показал на самок

светлячков. Наверное, потому что они сияли собственным светом и напоминали ему про тот, что сам он утратил. Край Инките, куда изгнали отца солнца, — это, наверное, ночь. А звезды вверху — это самки светлячков. Там они, наверное, и живут. И имеет их луна, ненасытный самец. А их собственные самцы живут тут без них и ждут их. Поэтому, наверное, когда падает звезда, когда она катится вниз по небу, светлячки сходят с ума? Бьются друг о друга, врезаются в деревья, порхают. «Это одна из наших жен», — наверное, думают они. «Она убежала от Кашири», — говорят. И каждый мечтает: «Это моя, моя сбежала и возвращается ко мне».

Так, наверное, началось после. Солнце тоже живет одно, дает свет и тепло. По вине Кашири на земле появилась ночь. Солнцу тоже иногда хочется, чтобы у него была семья. Хочется побыть с отцом, какой бы дурной он ни был. И оно, наверное, отправляется к нему. И падает, потом еще раз, потом еще. Вот оно отчего, видно, падает. Наверное, поэтому мы и пошли. Чтобы навести в мире порядок и избежать путаницы. У Тасуринчи, серипигари, все хорошо. Он доволен. Он идет. Его окружают светлячки.

Так, по крайней мере, я узнал.

Я много всего узнаю в каждом путешествии, пока слушаю. Почему мужчины могут сажать маниок и собирать его, а женщины — нет? Почему женщины могут сеять хлопок и собирать его, а мужчины — нет? Я не знал, пока однажды, у реки Пингитинари, слушая мачигенга, не понял. «Потому что маниок — мужчина, а хлопок — женщина, Тасуринчи. А растение любит иметь дело с себе подобными». Женщина с женщинами, мужчина с мужчинами. Такая вот мудрость, значит. Да, попугайчик?

Почему женщина, потерявшая мужа, может рыбачить, но не может ходить на охоту — иначе весь мир окажется в опасности? Когда она попадает из лука в какого-нибудь зверя, мать всех вещей страдает, говорят. Наверное, так и есть. Пока я шел сюда, думал о запретах и опасностях. «Ты не боишься странствовать один, говоритель? — спрашивают у меня. — Возьми кого-нибудь с собой в дорогу, не иди один». Я иногда так и делаю. Если кому-то со мной по дороге, мы идем вместе. Если я вижу идущую семью, я иду с ней. Но найти компанию бывает непросто. «Ты не боишься, говоритель?» Раньше не боялся, потому что не знал. А теперь боюсь. Теперь я знаю, что могу повстречаться в овраге или на ручье с камагарини,

а то и с каким-то из чудовищ Киентибакори. Что я тогда буду делать? Не знаю. Иногда я устраиваю себе убежище, вбиваю колья в берег реки, делаю навес из пальмовых листьев, и начинается дождь. «А если появится бесенок, что ты будешь делать?» — думаю я. И всю ночь не сплю. Пока что не появлялся. Может, его отпугивают травы у меня в сумке, может, ожерелье, которое повесил мне на шею серипигари и сказал: «Оно защитит тебя от демонов и от уловок мачиканари». С тех пор я его не снимал. Человек, который один в лесу встречается с камагарини, умирает на месте, говорят. Я, видно, пока не встречался. Наверное.

Кроме того, одному через лес идти нехорошо из-за запретов для охотников, объяснил мне серипигари. «Что ты будешь делать, если убьешь обезьяну или застрелишь пукакунгу? — говорил. — Кто подберет труп? Если ты дотронешься до зверя, которого убил, то осквернишься». Это, кажется, опасно. Я послушал и научился, как нужно поступать. Сначала очистить труп от крови травами или отмыть водой. «Хорошо отмываешь, а потом можешь трогать. Потому что скверна — не в мясе и не в костях, а в крови убитого». Так я и делаю, и вот он я. Говорю. Иду.

Благодаря Тасуринчи, серипигари, который

говорит со светлячками, мне не бывает скучно, когда я странствую. И грустно тоже. «Интересно, сколько еще мне лун идти до первого идущего человека?» — думаю я. И принимаюсь слушать. И учусь. Слушаю внимательно, как он слушал. С осторожностью, с уважением слушаю. Через некоторое время земля начинает говорить. У нее, как у человека в дурмане, развязывается язык. Говорят даже те вещи, от которых ничего такого не ожидаешь. Говорят и говорят. Кости, шипы. Камушки, лианы. Кустики и проклевывающиеся листочки. Скорпион. Вереница муравьев, которые тащат к муравейнику шмеля. Бабочка с радугой на крыльях. Колибри. Говорит мышь, забравшаяся на ветку, и говорят круги на воде. Говоритель тихонько лежит с закрытыми глазами и слушает. Думает, пусть все забудут про меня. И тогда одна из моих душ уходит. А приходит мать чего-то, что меня окружает. Я слышу, я начинаю слышать. Я уже понимаю. У всех есть что рассказать. Вот чему я, наверное, научился, пока слушал. И у жука. И у камушка, едва высовывающегося из глины. Даже у вши, которую можно раздавить ногтем, есть своя история. Хотел бы я помнить все, что я слышу. Вы бы, наверное, не уставали меня слушать.

Некоторые вещи знают свою историю и истории других, а некоторые — только свою. У того, кто знает все истории, несомненно, есть мудрость. От некоторых зверей я узнал их истории. Раньше все они были людьми. Они родились говорящими или, лучше сказать, они родились из говорения. Слово существовало прежде них. А потом появлялось то, что называют этим словом. Человек говорил, и то, что он говорил, появлялось. Так было прежде. А теперь говоритель просто говорит. Звери и вещи уже существуют. Так стало после.

Первым говорителем был, наверное, Пачакамуэ. Тасуринчи выдул Парени. Это была первая женщина. Она искупалась в Большой Теснине и надела белую кушму. И вот она, Парени. Существует. Потом Тасуринчи выдул брата Парени: Пачакамуэ. Он выкупался в Большой Теснине и надел кушму цвета глины. Вот он, Пачакамуэ. Тот, кто, говоря, родит животных. Сам того не замечая, как видно. Он давал им имя, произносил слово, и мужчины и женщины превращались в то, что Пачакамуэ говорил. Он это не нарочно делал. Но такие уж у него были способности.

Вот история Пачакамуэ, чьи слова рождали зверей, деревья и скалы.

Это было прежде.

Однажды он пошел навестить свою сестру Парени. Когда они уселись на циновках пить масато, он спросил, где ее дети. «Играют, лазают по деревьям», — сказала она. «Гляди, как бы они у тебя не стали обезьянками», — в шутку заметил Пачакамуэ. И едва он это сказал, как бывшие дети, уже волосатые и с хвостами, развизжались на деревьях громче грома. Повисли на ветках, держась хвостами, и раскачивались, довольные.

В следующий раз придя к сестре, Пачакамуэ спросил у Парени: «А где твоя дочь?» У дочери недавно началась первая кровь, и теперь она очищалась в укрытии из листьев и тростника, за домом. «Ты ее в загоне держишь, как тапира», — заметил Пачакамуэ. «Что такое тапир?» — удивилась Парени. Тут же они услышали мычание, и кто-то заскреб копытцами по земле. И из укрытия, испуганно поводя носом, пронесся в лес тапир. «Наверное, вот это», — пробормотал Пачакамуэ и показал на тапира.

Тогда Парени и ее муж Ягонторо встревожились. Разве Пачакамуэ не вносил в мир разлад своими словами? Разумно было его убить. Столько вреда может случиться, если он и дальше будет говорить! Они пригласили его выпить масато.

Когда он опьянел, хитростью заманили на край ущелья. «Смотри, смотри», — сказали они ему. И когда он глянул вниз, столкнули. Пачакамуэ катился и катился. Даже не проснулся. Докатился до дна, и так там и спал, рыгая, в кушме, заблеванной масато.

Открыв глаза, он очень удивился. Парени наблюдала за ним сверху. «Помоги мне выбраться отсюда!» — крикнул он. «Превратись в зверя и сам выберись! — насмешливо ответила она. — Ты ведь так поступаешь с мачигенга?» Последовав ее совету, Пачакамуэ произнес слово «санкори». И тут же превратился в муравья санкори, который строит висячие муравейники на деревьях и скалах. Но на сей раз у муравьишки ничего не получалось: как только он подбирался на своих постройках к краю ущелья, они загадочно рассыпались. «Что же мне делать?» — простонал говоритель в отчаянии. Парени посоветовала: «Устрой своими словами так, чтобы меж камней что-нибудь выросло. И вскарабкайся по нему». Тогда он сказал слово «тростник», и из земли вырос тростник и потянулся вверх. Но всякий раз, как Пачакамуэ на него влезал, тростник ломался, и говоритель скатывался обратно на дно ущелья.

Тогда Пачакамуэ встал и пошел в другую сторо-

ну, следуя изгибу ущелья. Он был в ярости. «Я вам принесу несчастья!» — говорил. Ягонторо гнался за ним, чтобы убить. Погоня была трудной и долгой. Проходили луны, и след Пачакамуэ терялся. Однажды Ягонторо набрел на стебель маиса. Во время дурмана он узнал, что этот стебель вырос из зерен каленого маиса, которые Пачакамуэ нес в сумке. Они выпали на землю, а он не заметил. Наконец-то Ягонторо напал на след. Вскоре он действительно увидел вдали Пачакамуэ. Тот устраивал запруду на реке, подкатывал к берегу стволы и валуны и швырял в поток. Хотел пустить реку по другому руслу, чтобы затопить дом одной семьи мачигенга и умертвить их всех. И яростно пердел. Киентибакори и его камагарини, наверное, плясали в глубине леса, опьянев от радости.

Тогда Ягонторо с ним заговорил. Попросил одуматься и вроде бы убедил. Позвал его обратно к Парени. Но, как только они вдвоем пустились в путь, убил его. Началась буря, она взъярила реки и с корнем вырвала множество деревьев. Шел ливень, гремел гром. Ягонторо невозмутимо продолжал отрезать голову трупу Пачакамуэ. Потом пронзил ее двумя шипами пальмы чонта крестнакрест и зарыл в тайном месте. Но язык отрезать

забыл, и за эту ошибку мы до сих пор платим. Пока не отрежем язык, будем в опасности, кажется. Потому что этот язык иногда говорит и вносит разлад в вещи. Где похоронена голова, никто не знает. Говорят, там воняет тухлой рыбой. И папоротники вокруг всегда дымятся, как гаснущий костер.

Ягонторо, обезглавив Пачакамуэ, пошел обратно к Парени. Он был доволен, думал, что спас мир от беспорядка. Теперь все заживут спокойно — вот как он считал, наверное. Но не успел отойти далеко, как почувствовал себя тяжелым. И неуклюжим — почему же? В испуге он увидел, что его ноги превратились в лапы, пальцы — в усики, руки — в крылья. Вместо идущего человека он стал опоссумом, как и видно из его имени. Под лесом, давясь землей, через два шипа, язык Пачакамуэ, должно быть, выговорил: «Ягонторо». И Ягонторо превратился в ягонторо.

Мертвый и обезглавленный Пачакамуэ продолжал менять вещи, чтобы они были похожи на полагающиеся им слова. Что же грозило миру? К тому времени у Парени был новый муж, и она шла, довольная. Однажды утром, пока она ткала кушму, сплетая и расплетая хлопковые волокна, ее муж подошел слизать пот, который бежал у

нее по спине. «Ты похож на пчелку, что сосет из цветов», — раздался голос из недр земли. Муж Парени уже не слышал — он легко порхал и жужжал в воздухе счастливой пчелой.

Вскоре Парени вышла замуж за Цонкири, который еще был человеком. Он заметил, что всякий раз, как он возвращается с прополки маниоковых грядок, жена дает ему неизвестную рыбу — бокичико. Из какой реки, из какой лагуны она ее доставала? Сама она бокичико в рот не брала. Цонкири заподозрил что-то серьезное. Вместо того, чтобы отправиться на огород, спрятался в кустах и стал следить. Его сильно напугало то, что он увидел: бокичико выплывали у Парени между ног. Она рожала их, как детей. Цонкири разгневался. И накинулся на нее, чтобы убить. Но не смог, потому что далекий голос из-под земли произнес его имя. А разве колибри может убить женщину? «Не едать тебе больше бокичико, — засмеялась Парени. — Теперь будешь летать с цветка на цветок, собирать пыльцу». Цонкири с тех пор такой, как сейчас, — колибри-цонкири.

Парени больше не захотела выходить замуж. Взяла с собой дочь и пошла. Села в каноэ. Плыла вверх по рекам, взбиралась по ущельям, пересекала дремучие чащи. Много лун спустя они

добрались до Соляной горы. Там обе они услышали издалека слова похороненной головы и окаменели от них. И стоят двумя огромными серыми скалами, покрытые мхом. До сих пор стоят, наверное. В их тени мачигенга усаживались пить масато и разговаривать, кажется. Когда поднимались за солью.

Так, по крайней мере, я узнал.

Тасуринчи, травник, тот, что жил у реки Тикомпиния, идет. Травы, которые я ношу с собой в сумке, дал мне он, объяснил, зачем нужен каждый листик, каждый пучок. Эта, с опаленными краями, отбивает нюх у ягуара, и он не может выследить идущего человека. Эта, желтоватая, защищает от змей. Их столько, что я путаюсь. Каждая от чего-то своего. От вреда и от чужаков. Чтобы рыба в лагуне шла в сеть. Чтобы стрела не пролетала мимо цели. А эта чтобы не споткнуться и не упасть в овраг.

Я пошел навестить травника, зная, что в его краях развелись виракочи. Так и есть: они до сих пор там. И их много. Когда я подходил по тропе, то видел на реке лодки, они рычали, плыли вниз и вверх по течению, и в них было полно виракоч. На песчаных отмелях, куда по ночам выходили черепахи откладывать яйца, а люди приходили

черепах переворачивать, теперь живут виракочи. И там, где раньше был дом травника. Эти виракочи пришли не за черепахами, не сажать огороды, не рубить деревья, кажется. А за камушками и песком из реки. Золото ищут, вроде бы. Я не подходил, не дал им меня заметить. Но даже издалека понял, как их много. Они построили дома. Видно, останутся.

В тех окрестностях я не нашел ни Тасуринчи, травника, ни его родичей, ни других идущих людей. «Ты напрасно проделал путь», — подумал я. Мне было неспокойно от всех этих виракоч вокруг. А если я с ними столкнусь, что тогда? Так что я спрятался, чтобы дождаться ночи и уйти с Тикомпинии. Залез на дерево и из-за веток стал смотреть на виракоч. По обоим берегам они выгребали землю и камни руками, лопатами и кирками. И просеивали через большие сита, как маниок просеивают для масато. Мелкие камушки перемалывали в корытах. Некоторые уходили в лес на охоту, и слышны были выстрелы. От шума деревья дрожали, а птицы срывались с мест и кричали. Скоро там никакого зверья не останется от него. Все уйдут, как ушел Тасуринчи, травник. Как только стемнело, я спустился с дерева и убежал. Удалившись на безопасное расстоя-

ние, сделал себе укрытие из листьев унгураби и уснул.

Когда я проснулся, надо мной на корточках сидел один из сыновей травника. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Жду, когда ты проснешься», — ответил он. Он следил за мной со вчерашнего дня, увидел меня на тропе, когда я подходил к виракочам. Его семья перебралась на три луны пути оттуда, вверх по притоку Тикомпинии. Мы с ним шли медленно, чтобы не попасться на глаза чужакам. Там тяжело идти по лесу. Нет тропы. Деревья растут густо-густо и переплетаются, будто дерутся. Руки устают рубить ветки и кусты, которые преграждают тебе путь, словно говорят: «Ты не пройдешь здесь». Под ногами вода. На склонах, скользких от дождя, мы увязали или скатывались вниз. Смеялись, что мы такие грязные и исцарапанные. Наконец дошли. Нас встретил Тасуринчи. «Так ты, значит, здесь?» — «Эхе, здесь я». Его жена вынесла циновки, мы сели. Поели маниока, выпили масато.

«Ты так далеко спрятался, что сюда виракочи никогда не доберутся», — сказал я. «Доберутся, — ответил он. — Может, нескоро, но и здесь они объявятся. Ты должен это понять, Тасуринчи. Они всегда приходят туда, где мы. Они с самого начала

такие. Сколько раз мне приходилось уходить, потому что они объявлялись? Это продолжается с самого рождения или даже раньше, кажется. И так будет, когда я уйду и вернусь, если моя душа не останется в тамошних мирах. Мы всегда уходим, потому что кто-то приходит. В скольких местах я жил? Кто знает. Много их было. Вот люди говорят: „Давайте найдем такое трудное, такое дремучее место, куда они никогда не дойдут. А если дойдут, то не захотят остаться“. Но они везде доходят и всегда остаются. Это всем известно. Тут никакого обмана. Они придут — я уйду. Это плохо? Скорее, хорошо. Такая у нас, видно, судьба, Тасуринчи. Разве мы не те, кто идет? Значит, мы должны быть благодарны машко и пунаруна. И виракочам тоже. Они вторгаются туда, где мы живем? Они заставляют нас выполнять наш долг. Без них мы бы испортились. Солнце упало бы, наверное. В мире наступила бы тьма, земля досталась бы Кашири. Не стало бы людей, был бы только холод».

Тасуринчи, травник, говорит, как говоритель.

Худшее время было, по его словам, когда деревьям пускали кровь. Сам он его не застал, но его отец и его матери застали. И он слышал столько историй о нем, что будто сам его прожил. «Столь-

ко, что иногда мне кажется, я тоже ранил стволы, чтобы из них бежало молоко, и на меня тоже охотились, как на пекари, чтобы забрать в лагерь». Когда такие вещи случаются, они не исчезают. В каком-то из четырех миров они остаются, и серипигари может увидеть их во время дурмана. Те, кто видит их, возвращаются сами не свои, зубы у них стучат от отвращения. Страх был так велик, смятение так сильно, что не стало доверия. Никто ни в кого не верил, дети подозревали, что на них будут охотиться родители, родители подозревали, что дети при первой возможности свяжут их и отвезут в лагеря. «Им не понадобилось колдовство, чтобы похитить столько людей, сколько они хотели. Одной хитростью раздобыли. Виракочи, должно быть, мудрые», — говорит Тасуринчи с восхищением.

Сперва они проходили по земле и ловили людей. Врывались в дома, стреляли из ружей. Их собаки лаяли и кусали, они тоже были охотники. Испугавшись шума, идущие люди разлетались, как птицы, что я видел на реке. Но в небо-то они улететь не могли. Их заарканивали в домах, заарканивали на тропах и в каноэ, если они удирали по реке. Давай, чтоб тебя! Давай, мачигенга! Тех, у кого были руки, чтобы пускать деревьям кровь,

уводили. А младенцев и стариков нет. «Эти не годятся», — говорили. Женщин тоже уводили работать в огородах и готовить. Давай! Давай! Связанные за шею, заходили они в лагеря. Все, кто попался. Давай, мачигенга! Давай, пиро! Давай, яминава! Давай, ашанинка! Там все перемешивались. Виракочам это было на руку, видно. Виракочи были довольны. Из лагерей мало кто вырывался. Наверное, они быстро уходили, в таком гневе и такой печали, что их души больше не возвращались.

Хуже всего, рассказывает Тасуринчи, сделалось, когда в лагерях стало не хватать людей, потому что очень многие уходили. Давай, чтоб тебя! А нечего было уже давать. Все кончалось. Рук им было не поднять, так и умирали. Виракочи бесились. «Что мы будем делать без рук? — говорили. — Что нам делать?» И тогда они стали посылать купленных ловить людей. «Купи себе свободу», — говорили. И подарки им делали. «Вот тебе еда. Вот одежда. Вот ружье. Устроит?» Всех, кажется, устраивало. Пиро они нашептывали: «Приведи нам трех мачигенга и можешь идти навсегда. Вот тебе ружье». Машко они нашептывали: «Приведи нам много пиро и можешь возвращаться домой, с женой и подарками. Вот

тебе собака в помощь». Они радовались, наверное. Становились охотниками на людей, лишь бы выбраться из лагеря. Семьи, как деревья, начали кровоточить. Все охотились на всех. С ружьями, стрелами, капканами, арканами, ножами. Давай, чтоб тебя! И появлялись в лагерях: «Вот, я их привел. Отдавай мне мою жену, — говорили. — Отдавай ружье. Отдавай подарок. Я пойду».

Доверие утратили, значит. Все стали друг другу враги тогда. Смеялся ли от радости Киентибакори? Дрожала ли земля? Вздувались ли реки? Кто знает. «Мы все уйдем», — говорили они в испуге. Знание они тоже утратили. «Как мы дошли до такой скверны?» — плакали они. Каждый день случалась резня. Реки покраснели, деревья тоже были забрызганы кровью. Женщины рожали мертвых детей: те уходили еще до рождения, не хотели жить в мире, полном вреда и смятения. Прежде идущих людей было много, после стало мало. Вот как было, когда деревьям пускали кровь. «В мире теперь беспорядок, — злились они. — Солнце упало».

То, что уже случилось, может случиться снова? Травник говорит, да. «Оно пребывает в каком-то из миров и, как душа, может вернуться. Если так произойдет, мы будем виноваты, наверное».

Лучше быть благоразумными и не давать памяти засыпать.

Трое детей Тасуринчи, травника, ушли с тех пор, как он поселился там. Увидев, что они уходят один за другим, он подумал: «Уж не воротился ли вред, который уносил целые семьи?» Он не смог выяснить, вернулись ли их души. «Как мне это узнать?» — сказал он мне. Он еще плохо знает место, где живет, и не разобрался, почему происходят некоторые вещи. Все там для него загадка. Но там тоже много трав. Некоторые были ему знакомы, а некоторые нет. Он учится. Собирает их, долго рассматривает, сравнивает, внюхивается, иногда кладет в рот. Жует и выплевывает, либо глотает. «Эта годится», — говорит.

Трое его детей ушли одинаково. Просыпались сами не свои, дрожали, потели. Не держались на ногах. Пытались ходить, танцевать и падали. Даже говорить не могли, кажется. Тасуринчи, когда такое случилось со старшим, решил, что это знак: нужно перебираться. Может, он выбрал плохое место для жизни. «Я так и не понял, — говорит он. — Этот вред не похож на другие, от него травки нет». Проделки камагарини, наверное. Бесенята всегда выходят творить вред в дождь. Киентибакори смотрит на них с опушки и смеет-

ся. Накануне гремел гром, пролилось много воды. Все знают, что так бывает, когда какой-нибудь камагарини бродит поблизости.

Когда этот сын ушел, семья Тасуринчи забралась немного выше по лесу. Через некоторое время у второго сына начала кружиться голова, он стал падать. Как первый, получается. Когда и этот умер, они снова перешли на новое место. Там то же самое случилось с третьим. Тасуринчи решил больше не двигаться. «Те, кто ушел, защитят нас от камагарини, который хочет выгнать нас отсюда», — сказал. Так оно, видно, и случилось. С тех пор больше ни у кого не кружилась голова, никто не падал.

«Этому есть объяснение, — говорит травник. — Всему есть объяснение. Охоте на людей, когда деревьям пускали кровь, тоже есть объяснение. Но его не просто найти. Даже серипигари не всегда его находит. Может, эти трое ушли, чтобы там побеседовать с матерями этого места. Теперь у нас тут три покойника, и они не будут смотреть на нас как на чужаков. Мы теперь отсюда. Разве нас не знают здешние деревья, здешние птицы? Разве нас не знает здешняя вода и воздух? Может, такое объяснение. С тех пор, как они ушли, мы не чувствуем никакой враждебности. Как будто нас

здесь приняли».

Я пробыл у него много лун. Чуть не остался жить там, неподалеку от травника. Я помогал ему ставить силки на пукакунгу и ходил с ним на лагуну ловить бокичико. Расчищал с Тасуринчи место под новый огород, который он засеет, когда старому нужно будет отдохнуть. По вечерам мы говорили. Женщины тем временем давили друг у друга гнид, пряли, ткали циновки и кушмы, жевали и выплевывали маниок, готовили масато, а мы с ним все беседовали.

Травник хотел, чтобы я рассказывал ему про идущих людей. Про тех, которых он знает, и про тех, которых никогда не видел. Я рассказал ему про вас, так же, как вам рассказываю про него. Проходили луны, а я не хотел уходить оттуда. Раньше со мной такого не бывало. «Ты устал идти? — спросил он меня. — Это со многими случается. Тебе не следует беспокоиться, говоритель. Если это так, измени свою жизнь. Останься на одном месте и заведи семью. Построй себе дом, расчисть себе место, расти свой огород. У тебя будут дети. Перестань ходить и перестань говорить. Здесь тебе оставаться нельзя, у нас большая семья. Но можешь уйти вверх по течению на две или три луны. Там есть ручей, который тебя

дожидается, думаю. Я могу тебя проводить. Хочешь семью? Я и в этом пособлю, если хочешь. Возьми вот эту женщину. Она старая, спокойная и будет тебе помогать, потому что умеет готовить и прясть лучше многих. Или, если предпочитаешь, вот моя младшая дочь. Тебе еще нельзя ее трогать, потому что у нее не шла кровь. Если ты взберешься на нее сейчас, случится какое-нибудь несчастье, наверное. Но подожди немного, а она пока научится быть твоей женой. Ее матери ей подскажут. Когда у нее пойдет кровь, принесешь мне пекари, рыбы, плодов, выкажешь признательность и уважение. Хочешь так, Тасуринчи?»

Я долго думал над его предложением. Мне хотелось принять его. Мне даже приснилось, что я принял его и изменил свою жизнь. У меня и так хорошая жизнь, я понимаю. Идущие люди принимают меня с радостью, кормят и расхваливают. Но я вечно странствую, и сколько еще это может продлиться? Расстояние между семьями становится все больше. В последнее время я часто думаю в пути, что однажды силы меня покинут. Да, попугайчик? Так и останусь лежать, изможденный, на тропе. Ни одного мачигенга не окажется там, наверное. Моя душа уйдет, а мое пустое тело начнет гнить, пока меня будут кле-

вать птицы и по мне будут ходить муравьи. Из моих костей вырастет трава, наверное. Капибара съест оболочку моей души. Когда у человека начинаются такие страхи, должен ли он поменять привычки? Тасуринчи, травник, считал, что да, должен.

«Тогда я принимаю твое предложение», — сказал я ему. Он проводил меня до того места, которое меня дожидалось. Путь занял у нас две луны. Нужно было идти вниз и вверх по лесу, где тропа терялась, и когда мы взобрались на склон, обезьяны шимбильо, страшно галдя, забросали нас стручками. У ручья мы нашли детеныша оцелота, запутавшегося в колючих кустах. «Он хочет нам что-то сказать», — забеспокоился травник. Но не смог понять, что именно. Поэтому, вместо того, чтобы убить его и снять шкуру, он вызволил его из кустов и отпустил в лес. «Разве не хорошее место для жилья? — спросил он, показывая мне окрестности. — Вон там, повыше, ты можешь разбить маниоковые грядки. Там никогда не будет наводнения. Много деревьев и мало травы, значит, земля хорошая и маниок хорошо примется». Да, там можно было жить. Хотя по ночам стоял такой холод, какого я никогда не чувствовал в других местах. «Прежде чем ты примешь

решение, посмотрим, есть ли тут на кого охотиться», — сказал Тасуринчи. Мы поставили капканы. Попались капибара и пака. Потом мы спрятались в кроне дерева и оттуда подстрелили пукакунгу. Я решил остаться и построить себе дом.

Но не успели мы начать рубить деревья, как появился сын травника, тот самый, что проводил меня до его нового дома. «Кое-что случилось», — сказал. Старуха, которую собирался отдать мне Тасуринчи, отравилась. Она натолкла барбаско и приготовила отвар, приговаривая: «Не хочу, чтобы люди на меня сердились, чтобы говорили: „Из-за нее мы остались без говорителя“. Скажут, я его приворожила, опоила зельем, чтобы взял меня в жены. Лучше уж я уйду».

Я помог травнику сжечь дом, кушму, горшки, ожерелья и все остальное, что принадлежало этой женщине. Мы завернули ее в несколько циновок и уложили на плотик из пальмы чонта. Столкнули в реку, и ее унесло вниз по течению.

«Это предупреждение, и ты можешь внять ему или нет, — сказал мне Тасуринчи. — На твоем месте я бы внял. Ведь у каждого человека свой долг. Зачем мы идем? Чтобы было тепло и свет, чтобы все было спокойно. Таков порядок мира. Тот, что говорит со светлячками, делает, что дол-

жен делать. Я снимаюсь с места, когда приходят виракочи. Такое у меня, видно, предназначение А у тебя какое? Приходить к людям и говорить. Опасно ослушаться своего предназначения. Заметь, та, что должна была стать тебе женой, ушла. Я бы на твоем месте отправился в путь, как раньше. Что ты решишь?»

Я решил последовать совету Тасуринчи, травника. И наутро, когда глаз солнца выглянул в мир из Инките, я уже шагал. Теперь я думаю об этой мачигенга, которая ушла, чтобы не становиться моей женой. Теперь я говорю с вами. А завтра — кто знает.

Так, по крайней мере, я узнал.

VI

В 1981 году я шесть месяцев вел на перуанском телевидении передачу под названием «Вавилонская башня». Владелец канала, Хенаро Дельгадо, втянул меня в эту авантюру, подсунув мне следующие соблазнительные аргументы: необходимость повысить уровень телепрограмм, за предыдущие двенадцать лет, пока телевидение застаивалось в условиях военной диктатуры, докатившихся до предела глупости и вульгарности; волнующая возможность поэкспериментировать со средством коммуникации, которое в таких странах, как Перу, является единственным способом достучаться одновременно до самых разных людей; хорошая зарплата.

Работа оказалась действительно замечательная, но вместе с тем самая утомительная и нервная за всю мою жизнь. «Если правильно распределишь время и полдня будешь посвящать передаче, тебе этого хватит, — сказал Хенаро. — По вечерам сможешь по-прежнему писательствовать». Но теория, как обычно и бывает, разошлась с практикой. На самом деле мне

пришлось заниматься «Вавилонской башней» каждое утро, каждый день и каждый вечер последующих месяцев — а больше всего в те часы, когда я вроде бы ничего не делал, только с ужасом вспоминал, что пошло наперекосяк в предыдущем выпуске, и пытался представить, что пойдет еще хуже в следующем. «Вавилонскую башню» делали четыре человека: Луис Льоса, продюсер и художник-постановщик; Моше Дан Фурганг, редактор; Алехандро Перес, оператор, и я. Лучо (Луиса) и Моше привел на канал я. У обоих был опыт в кино, они снимали короткометражки, но, как и я, никогда не работали на телевидении. Название передачи свидетельствовало о наших наивных амбициях: мы хотели впихнуть в нее все, сделать этакий калейдоскоп тем. Доказать зрителям, что передача о культуре необязательно должна быть выхолощенной, эзотерической или нравоучительной, нет, она может быть интересной и доступной любому человеку, потому что культура — это не наука, не литература и вообще не область специализированного знания, а, скорее, способ смотреть на жизнь, восприимчивость ко всему в мире. Наше намерение состояло в том, чтобы за час эфира в неделю (хотя мы часто не укладывались, и передача шла все полтора)

затронуть две или три темы, желательно далекие друг от друга, и показать аудитории, что у нас не возбраняется говорить и о футболе, и о боксе, и о сальсе, и о юморе, и что политический репортаж или документальный фильм об амазонских племенах могут быть не только полезными, но и приятными для просмотра.

Пока мы с Лучо и Моше составляли списки тем, героев, мест и ломали голову, как бы поживее их осветить в «Вавилонской башне», все шло превосходно. Мы фонтанировали идеями и страстно желали открывать все новые и новые возможности самого популярного средства коммуникации нашего времени.

На деле же мы впряглись в какую-то кабалу отсталости, которая исподволь подтачивает лучшие намерения и сводит на нет самые отчаянные усилия. Я без преувеличения могу сказать, что бóльшая часть времени, которое мы с Лучо и Моше посвящали «Вавилонской башне», ушла — впустую ушла — не на творческую работу, не на интеллектуальное наполнение передачи, а на разрешение вроде бы малозначительных проблем, о которых и думать-то было бы жалко. Как, например, сделать, чтобы транспорт канала забирал нас вовремя и мы не опаздывали на встречи,

на самолеты, на интервью? В результате мы сами приезжали к водителям домой, будили их, вместе с ними ехали на канал забирать оборудование для записи, а потом в аэропорт или куда надо было. Но мы, во-первых, заработали страшный недосып, а во-вторых, эта схема тоже не всегда прокатывала, потому что у наших чертовых фургонов мог сесть аккумулятор или никто вовремя не распоряжался заменить поддон картера, глушитель, покрышку, которая накануне не вынесла убийственных выбоин на проспекте Арекипа…

После первого же репортажа я заметил, что картинка у нас выходит с какими-то странными уродливыми пятнами. Что это были за грязные полумесяцы? Алехандро Перес объяснил мне, что проблема в фильтрах камеры. Они были старые и нуждались в замене. Отлично, давайте заменим. Как этого добиться? Мы испробовали все способы, кроме убийства, и ни один не сработал. Посылали меморандумы в службу ремонта, умоляли по телефону и при личных встречах, валялись в ногах у инженеров, техников, администраторов и даже, насколько я помню, обсуждали это с владельцем канала. Все согласились с нами, все возмутились, все срочно распорядились заменить фильтры. Может, их и заменили. Только

сероватые полумесяцы так и остались с нами до последнего выпуска. Я до сих пор иногда вижу их, эти самозванные тени, когда включаю перуанское телевидение, и с некоторой ностальгией думаю: «Ага, камера Алехандро Переса».

Я не знаю, кто на канале решил, что Алехандро Переса нужно направить к нам. Это было прекрасное решение, потому что — даже учитывая кабалу отсталости, которую Алехандро всегда воспринимал философски, невозмутимо, — он очень ловко управляется с камерой. У него большой врожденный талант и удивительная интуиция во всем, что касается композиции, движения, угла, расстояния. Он родом из Уануко, сначала работал маляром, и однажды кто-то предложил ему халтуру: помогать таскать телекамеры и прочее оборудование на стадионе, во время футбольных матчей. Он так долго их таскал, что потихоньку выучился снимать. Потом как-то раз заменил оператора, который не пришел, одно к одному, и вот он уже лучший оператор канала.

Сначала он все время молчал, и это действовало мне на нервы. Общался он только с Лучо. Они не то чтобы разговаривали, но как-то подспудно друг друга понимали. Я не помню, чтобы за шесть месяцев нашей совместной работы Але-

хандро хоть раз произнес полное предложение с подлежащим и сказуемым. Он только одобрительно или неодобрительно хмыкал и иногда издавал возглас, которого я боялся, как чумы, потому что он означал, что нас в очередной раз настигли непредвиденные, непреодолимые и необозримые трудности: «Опять полетело, на…!» Сколько раз у нас летели звукозаписывающее устройство, пленка, отражатель, аккумулятор, монитор? Любое оборудование могло полететь бесчисленное количество раз, это было неотъемлемое свойство всех предметов, с которыми мы работали, единственное, которому все они оставались по-собачьи верны. Сколько тщательно распланированных проектов, сколько расследований, сколько интервью, организованных невероятными усилиями, пошло к черту, когда немногословный Алехандро изрек свое роковое: «Полетело, на…!»

Мне особенно запомнился случай в амазонском городке Пуэрто-Мальдонадо, куда мы прибыли снимать короткий документальный фильм про смерть поэта и герильеро Хавьера Эрауда. Алаин Элиас, его товарищ и командир отряда герильи, попавшего в засаду в тот день, когда убили Эрауда, согласился поведать на камеру об

этих событиях. Рассказ оказался интересным и волнующим — Алаин находился в одном каноэ с Хавьером Эраудом, когда в того попала пуля, и сам был ранен в перестрелке, — и мы решили дополнить его кадрами из тех мест, где все произошло, и, если получится, интервью с жителями Пуэрто-Мальдонадо, помнившими этот эпизод двадцатилетней давности.

В сельву со мной поехали не только Лучо и Алехандро Перес, но даже Моше, который обычно оставался в Лиме, чтобы монтаж шел быстрее. Несколько очевидцев в Пуэрто-Мальдонадо согласились на интервью. Главной нашей находкой стал полицейский, участвовавший и в первоначальном инциденте в центре города — в результате которого погиб один жандарм, а городские власти узнали о присутствии в Пуэрто-Мальдонадо отряда герильи, — и в погоне за Хавьером Эраудом, и в перестрелке. Он уже ушел в отставку и теперь работал у себя на ферме. Уговорить его на интервью стоило нам огромных трудов — как бывшего полицейского, его терзали сомнения и страхи. Но в конце концов нам это удалось. И мы даже договорились снимать в участке, откуда тогда отправился патруль.

В ту же секунду, как мы приступили к интер-

вью, отражатели у Алехандро Переса начали лопаться, как шары на карнавале. А когда все они лопнули, амазонские лары и пенаты решили еще яснее дать нам понять, что они против «Вавилонской башни», и наш переносной генератор умер, и магнитофон перестал записывать. Полетело, на…! Одна из самых интересных частей передачи накрылась. Мы вернулись в Лиму с пустыми руками.

Преувеличиваю ли я, чтобы высветить наши проблемы? Возможно. Но не сильно. Я мог бы рассказать десятки таких анекдотических историй. И других тоже — и все они иллюстрация к главной черте отсталости: к нестыковке теории и практики, намерений и фактов. Делая «Вавилонскую башню», мы ощущали эту нестыковку на каждом этапе работы. Существовали таблицы с равномерным распределением монтажных комнат и студий записи между разными программами. Но на самом деле никакие не таблицы, а находчивость и напористость каждого конкретного продюсера или технического специалиста определяли, кому сколько достанется времени на монтаж и запись и удобное ли это будет время.

Мы, конечно, быстро разобрались, к каким уловкам, хитростям, козням и махинациям

нужно прибегать, чтобы добиться отнюдь не привилегий, нет, но хотя бы минимальных условий, чтобы с честью выполнять работу, за которую нам платили. Все эти маневры не отличались сложностью, но нещадно отбирали у нас драгоценное время, которое мы могли бы потратить на творчество. Теперь, после того, что мы прошли, когда мне случается видеть по телевизору хорошо записанную и смонтированную, живую, оригинальную передачу, мое восхищение не знает границ. Потому что я понимаю, что за этим стоит не только труд и талант, но и настоящее колдовство, чудо. Иногда мы отсматривали готовый вариант на предмет последних корректив и оставались довольны, и говорили друг другу: «Ну, наконец-то нормально получилось», но наступало воскресенье, и на экране то пропадал звук, то изображение начинало скакать, то склейки провисали. Что полетело на сей раз? Дежурный техник, который ставил пленки, напился и уснул, нажал не ту кнопку, все перепутал… Для перфекционистов работа на телевидении — большой риск, вечный источник бессонницы, тахикардии, язв, сердечных приступов…

И все же, как я теперь понимаю, те полгода были прекрасным, ярким временем. Я с нежно-

стью вспоминаю интервью с Борхесом, которое мы снимали у него в квартире в центре Буэнос-Айреса, — он, по-моему, так и не простил мне, что я назвал его жилище «скромным» и упомянул про протечки, — где комната его матери оставалась точно в таком же виде, как в день ее смерти (на кровати было аккуратно разложено фиалковое платье для пожилой сеньоры); вспоминаю портреты писателей, написанные самим Эрнесто Сабато, — он разрешил нам снять их у него дома в Сантос-Лугарес. С самого моего переезда в Испанию в начале 70-х я хотел взять интервью у писательницы Корин Тельядо, чьи мелодрамы и женские романы — в том числе в виде фотоновелл, радио- и телесериалов — жадно поглощали миллионы испанцев и латиноамериканцев. Она согласилась сняться в «Вавилонской башне», и я провел целый вечер у нее на окраине Хихона, в Астурии: она показала мне заваленный тысячами ее книжечек (на написание одной — всегда ровно в сто страниц — у нее уходило два дня) подвал, где она жила в вынужденном затворничестве, поскольку в тот период подвергалась попыткам вымогательства со стороны то ли какой-то политической группировки, то ли обычных преступников.

Из писательских домов наши камеры отправлялись на стадионы: в Рио-де-Жанейро мы сделали передачу про один из лучших футбольных клубов Бразилии, «Фламенго», и взяли интервью у его звезды Зико; и на ринги: в Панаме выясняли, как и почему эта маленькая страна в Центральной Америке выпестовала столько чемпионов континента и мира во всех категориях, любителей и профессионалов. В Бразилии мы проникли в эксклюзивную клинику атлетически сложенного доктора Пинтагуя, чей скальпель превращал в юных красавиц женщин со всего света, способных оплатить его услуги. В Сантьяго-де-Чили беседовали с пиночетовскими Чикаго-бойз[11] и с оппозиционерами из Христианско-демократической партии, сопротивлявшимися диктатуре в условиях жесточайших репрессий.

Во вторую годовщину сандинистской революции мы отправились в Никарагуа брать интервью у сандинистов и их противников. Ездили под Сан-Франциско, в университет Беркли, где в малень-

[11] Примечания: 11

Чикаго-бойз («Чикагские мальчики») — группа экономистов, работавших во время диктатуры Аугусто Пиночета над децентрализацией чилийской экономики. «Чикагскими» называются, поскольку испытали сильное влияние идей Милтона Фридмана, автора концепции «шоковой терапии» и в то время главы экономического факультета Чикагского университета.

кой каморке на отделении славянских языков работал великий поэт Чеслав Милош, недавний лауреат Нобелевской премии. В Коклесито были в гостях у генерала Омара Торрихоса, который, хоть теоретически был отстранен от управления Панамой, на деле оставался единоличным хозяином страны. Мы провели у Торрихоса целый день, и он был со мной очень любезен, но не произвел на меня такого благоприятного впечатления, как на других писателей, знакомых с ним. Мне он показался типичным, недоброй памяти, латиноамериканским каудильо, сильным, прозорливым, властным мачистом, которому целая свита военных и гражданских (в течение дня они то и дело возникали в поле нашего зрения) пела тошнотворно подхалимские дифирамбы. Самым интересным персонажем в доме в Коклесито была одна из любовниц генерала, аппетитная блондинка, лежавшая в гамаке. Она походила на какой-то предмет мебели, потому что генерал с ней вообще не разговаривал и не представлял ее многочисленным посетителям…

Два дня спустя после возвращения из Панамы нас с Лучо Льосой и Алехандро Пересом повергла в шок новость: Торрихос разбился в авиакатастрофе, на том самом самолетике, на котором

отправил нас из Коклесито в столицу. И пилот был тот же самый, с которым летели мы.

В Пуэрто-Рико, когда мы закончили снимать небольшой репортаж о превосходной реставрации старого Сан-Хуана, о котором нам рассказывал вдохновитель проекта Рикардо Алегрия, я упал в обморок от обезвоживания. Несколькими днями ранее я отравился в чичериях Катакаоса, городка на севере Перу, куда мы ездили делать программу про плетельщиков соломенных шляп (этот промысел процветает в Катакаосе уже несколько веков), про секреты местного танца тондеро и про тамошние заведения, где наливают прекрасную чичу и подают разнообразное огнедышащее жаркое (последнее, разумеется, и стало причиной моей интоксикации). Я бесконечно благодарен пуэрто-риканским друзьям, которые буквально угрозами заставили очень милых врачей из больницы Сан-Хорхе привести меня в норму так быстро, чтобы в воскресенье «Вавилонская башня» вышла по расписанию.

Передачи отправлялись в эфир каждую неделю, и с учетом условий нашей работы это можно счесть едва ли не подвигом. Я писал сценарии в фургонах или в самолетах, из аэропорта ехал прямиком в студию записи или монтажную

комнату, а оттуда снова спешил на самолет, чтобы преодолеть сотни километров и провести в каком-то городе или стране иногда меньше времени, чем заняла дорога до них. В эти полгода я вообще забыл, что значит есть, спать, читать и, конечно, писать. Бюджет у нас был ограниченный, и я старался — чтобы каналу не приходилось лишний раз платить за мои билеты и проживание — совмещать командировки для передачи с другими рабочими поездками, когда меня, например, приглашали на литературный конгресс или читать лекции. Трудность состояла в том, что такая система понуждала меня к шизофреническому раздвоению личности: мне за секунду приходилось превращаться из лектора в журналиста, из писателя, которому подставляли микрофон, в интервьюера, который, словно в качестве абсурдного наказания, интервьюировал своих же интервьюеров.

Мы много передач сняли за границей, но большинство все же касалось перуанских тем. Народные танцы и праздники, проблемы университетов, археологические комплексы доколумбовых времен, старый мороженщик, пятьдесят лет подряд объезжающий район Мирафлорес на своем трехколесном велосипеде, легенда о

публичном доме в Пьюре, тюремный мир. Мы обнаружили, что «Вавилонская башня» имеет широкую аудиторию, когда на нас посыпались рекомендации и настоятельные запросы от разных организаций и личностей, которые хотели, чтобы мы осветили их деятельность. Самая неожиданная просьба поступила от Перуанской полиции расследований (ППР). Некий полковник явился ко мне в кабинет и предложил посвятить очередную «Вавилонскую башню» какому-то юбилею ППР: чтобы получилось живенько, они обещали изобразить операцию по захвату торговцев кокаином, с перестрелками и всеми остальными обязательными элементами.

Под самый конец шести месяцев, на которые у нас с каналом был заключен договор, мне позвонила подруга, которую я не видел сто лет: Росита Корпанчо. Все тот же жаркий голос с томными интонациями уроженки Лорето, что и в мои университетские годы. И все тот же — нисколько не уменьшившийся, скорее, наоборот — энтузиазм по отношению к Летнему институту лингвистики. Я же помню такой институт, правда? Да, но, Росита… Ну вот и хорошо. Институту скоро исполнится столько-то лет, и к тому же они собираются паковать чемоданы, миссия в Амазонии скоро

завершится. Нельзя ли так устроить, чтобы «Вавилонская башня»...? Я перебил ее решительным: «Можно!» Я с большим удовольствием сниму документальный фильм про работу лингвистов-миссионеров. Заодно в сельве сделаю репортаж про какое-нибудь из наименее известных племен, я с самого начала «Вавилонской башни» собирался. Росита ликующим голосом сказала, что в таком случае скоординирует нас с институтом, чтобы мы могли оперативнее перемещаться по сельве. У меня уже есть какое-то конкретное племя на примете? Я не задумываясь ответил: «Мачигенга».

С тех пор, как в начале 60-х мои попытки написать рассказ про говорителей мачигенга провалились, тема не отпускала меня. Время от времени она возвращалась, как старая, но так и не угасшая до конца любовь, чьи тлеющие угли могут вдруг разгореться опять. Я постоянно делал заметки, писал черновики, а потом неизменно их рвал. И прочитывал все вновь появлявшиеся в научных журналах исследования и статьи о мачигенга, что мог достать. Безвестность, в которой они исторически пребывали, уступала место всеобщему любопытству. Французская антрополог Франс-Мари Ренар-Касевиц и американский ан-

трополог Аллен В. Джонсон долго прожили среди мачигенга и описали их социальную организацию, способы труда, систему родства, символы, чувство времени. Швейцарский этнолог Герхард Баер, который тоже жил в племени, глубоко изучил их религию, а падре Хоакин Барриалес начал публиковать в испанском переводе внушительный собранный им корпус мифов и песен мачигенга. Некоторые перуанские антропологи, однокашники Образинки, например, Алехандро Камино Диес Кансеко и Виктор Х. Гевара, тоже исследовали обычаи и верования племени.

Но нигде, ни в одной из этих современных работ я не нашел ни малейшего упоминания о говорителях. Любопытным образом вся информация о них заканчивалась на 50-х годах. Может, сама эта фигура перестала быть релевантной для племени как раз в тот период, когда супруги Снейл узнали о ней? В текстах миссионеров-доминиканцев 30-х и 40-х — падре Пио Асы, Висенте де Сенитагойи и Андреса Ферреро — имелись многочисленные отсылки к говорителю. И у путешественников XIX века тоже. Одно из первых упоминаний читаем в книге французского натуралиста Поля Маркоя, повстречавшего на берегу Урубамбы человека,

которого он называет *orateur*[12]: в течение долгих часов тот буквально гипнотизировал группу анти. «Думаешь, эти анти были мачигенга?» — спросил у меня антрополог Луис Роман, показав цитату. Да, мачигенга, я нисколько не сомневался. Почему же современные этнологи никогда не упоминали говорителей? Этим вопросом я задавался всякий раз, когда мне в руки попадало очередное исследование или полевой отчет и я убеждался, что там даже вскользь не касаются странствующих рассказчиков историй, которые, в моем представлении, были самым тонким и драгоценным проявлением этого маленького народа, так или иначе протянувшим любопытную сентиментальную нить между мачигенга и моим призванием (чтобы не сказать — моей жизнью).

Почему у меня все эти годы не получалось написать рассказ о говорителях? Обычно, выбрасывая в мусорную корзину очередную половинчатую рукопись об этой неуловимой материи, я отвечал себе: потому что невероятно трудно изобрести на испанском языке и в рамках интеллектуальных логических схем литературную форму, которая правдиво могла бы передать манеру речи перво-

---

[12] Примечания: 12
Оратор (*фр.*).

бытного человека, носителя магико-религиозного сознания. Все мои попытки выливались в стиль, казавшийся мне столь же очевидно обманным, столь же малоубедительным, как тот, которым философы и романисты Просвещения заставляли говорить своих экзотических персонажей, когда в XVIII веке в моду вошла фигура доброго дикаря. Но, несмотря на провалы, а возможно, и благодаря им, намерение не оставляло меня: порой, подстегиваемое каким-нибудь своевременным обстоятельством, оно вновь набирало силу, и тогда гулкий, мимолетный, лесной силуэт говорителя заполонял мой дом и мои сны. Как же я мог упустить волнующую возможность своими глазами увидеть наконец лица мачигенга?

Со времен первого путешествия в середине 1958 года, открывшего мне перуанскую сельву, я еще несколько раз бывал в Амазонии: в Икитосе, в Сан-Мартине, в верховьях Мараньона, в Мадре-де-Дьос, в Тинго-Мария. Но в Пукальпу больше не возвращался. За двадцать три года моего отсутствия крошечное пыльное селение, полное в моих воспоминаниях похоронных контор и евангелистских церквей, успело пережить промышленный и торговый бум, потом кризис, а в сентябре 1981 года, когда мы с Лучо Льосой

и Алехандро Пересом там приземлились, чтобы снять предпоследнюю «Вавилонскую башню», там как раз начинался новый бум, но на этот раз скверный: бум кокаинового трафика. Волна жары и пламенного света, в объятиях которого так четко видны люди и вещи (в отличие от Лимы, где солнце всегда сероватое, даже если на небе ни тучки), неизменно, как только я попадаю в Амазонию, производит во мне эффект невероятного воодушевления.

Но еще больше, чем амазонский пейзаж и его тепло, меня в тот раз порадовали люди, приехавшие встретить нас в аэропорту Пукальпы по заданию института: супруги Снейл собственной персоной. К тому времени они уже четверть века проработали в Амазонии и всегда с мачигенга. Они удивились, что я их помню — думаю, они меня не помнили вообще — и сохранил в памяти столько подробностей из наших двух бесед на базе в Яринакоче. Пока мы тряслись в джипе по дороге к институту, они показали мне фотографии детей — взрослых юношей и девушек: все жили в США и некоторые уже успели закончить университет. Все они говорили на мачигенга? Конечно, это второй язык в их семье, мачигенга они выучились раньше, чем испанскому. Я

обрадовался, что Снейлы станут нашими проводниками и переводчиками в деревнях, которые нам предстояло посетить.

Озеро Ярина по-прежнему походило на открытку, а закаты над ним стали еще краше. Бунгало института по берегам теперь было больше. Едва выпрыгнув из джипа, мы с Лучо и Алехандро принялись за работу и договорились, что вечером в качестве подготовки к путешествию в верховья Урубамбы Снейлы расскажут нам про тамошние места и людей.

Кроме Снейлов, в Яринакоче не оставалось ни одного лингвиста из тех, с кем я познакомился в прошлый раз. Кто-то вернулся в Штаты, кто-то занимался полевой работой в других джунглях планеты, кого-то — среди них доктора Таунсенда, основателя института, — уже не было в живых. Но лингвисты, с которыми мы познакомились, у которых взяли интервью, которые служили нам гидами, пока мы снимали разные планы базы, выглядели, как близнецы тех, что я помнил. Мужчины — коротко стриженные, подтянутые, со свежими открытыми лицами людей, которые ежедневно занимаются спортом, питаются, следуя рекомендациям диетолога, не курят и не пьют ни алкоголь, ни кофе; женщины — в очень

простых и очень закрытых платьях, ни следа макияжа, ни проблеска кокетства, гнетущая аура работоспособности. Взгляды у всех улыбчивые и будто непробиваемые: так смотрят люди, которые поступают согласно своей вере и знают, что правда на их стороне, — такие всегда меня восхищали и пугали.

Все время, пока позволял свет и капризы оборудования Алехандро Переса, мы собирали материал для передачи про институт. Семинар для двуязычных учителей из разных деревень, который как раз проходил в Яринакоче; специально разработанные буквари и грамматики; интервью с лингвистами; панорама базы, представлявшей собой город в миниатюре с собственной школой, больницей, стадионом, библиотекой, церквями, телеграфом и аэропортом.

Вечером, после рабочего ужина, которым мы поставили точку в части передачи, посвященной институту, мы начали готовить ту часть, что собирались снять в ближайшие дни: про мачигенга. В Лиме я поднял и пересмотрел все документы о них, скопившиеся у меня за годы. Но полезнее всего оказалась беседа со Снейлами — снова у них дома, снова мы пили чай и ели печенье, приготовленное миссис Снейл, — поскольку в ходе нее

мы из первых рук выяснили, в каком состоянии находится община, которую они знали вдоль и поперек, ведь она была их домом последние двадцать пять лет.

Многое в жизни мачигенга из верховий Урубамбы и с реки Мадре-де-Дьос изменилось с того дня, когда Эдвин Снейл голышом приблизился к достопамятной семье и она от него не убежала. Изменилось к лучшему? Снейлы были в этом твердо уверены. Что касалось мачигенга с другой стороны теснины Майнике, то для них в значительной степени закончилась раздробленность, в которой они раньше жили, когда мелкие группки передвигались каждая сама по себе почти без всякого контакта, в упорной борьбе за существование. Если бы так продолжалось и дальше, это означало бы попросту распад общины, смерть языка, ассимиляцию внутри иных групп и культур. Но в результате долгих усилий властей, католических миссионеров, антропологов и этнологов, а также института мачигенга постепенно свыклись с мыслью, что необходимо строить деревни, собираться в доступных остальным людям местах, обрабатывать землю, выращивать скот и вести торговлю с другими частями Перу. Все это развивалось стремительно. Основали уже

шесть селений, некоторые появились буквально накануне. Мы должны были посетить два: Новый Мир и Новый Свет.

Из пяти тысяч (приблизительные подсчеты) мачигенга примерно половина жила в этих деревнях. Одно селение принадлежало напополам мачигенга и кампа (они же ашанинка), и пока что сосуществование двух племен не вызывало никаких проблем. Оптимистично настроенные Снейлы считали, что остальные мачигенга, даже самые нелюдимые, так называемые когапакори, увидев, что общинное житье приносит их собратьям ряд благ — бóльшую определенность, возможность получить помощь в чрезвычайных случаях, — постепенно покинут свои лесные убежища и оснуют новые поселения. С искренним энтузиазмом Снейлы рассказали нам, какие конкретные шаги были предприняты, чтобы интегрировать эти деревни в жизнь страны. Например, созданы школы и сельскохозяйственные кооперативы. И в Новом Мире, и в Новом Свете работают двуязычные школы, где все учителя мачигенга. Да мы сами увидим.

Означало ли это, что мачигенга уже не тот первобытный, замкнутый в себе, пессимистичный, сдавшийся народ, который сами Снейлы описы-

вали мне в 1958 году? До определенной степени, да, означало. В них — по крайней мере, в тех мачигенга, что теперь жили общинно, — чувствовалось все меньше неприязни к новому опыту, к прогрессу, больше любви к жизни, что ли. Но в том, что касалось изоляции, о радикальных переменах говорить было пока рано. Наш путь до деревень должен был занять два-три часа, но это на самолетах института, а если плыть туда по реке от любого более или менее крупного центра Амазонии, то он растягивается на несколько дней, а то и недель. Так что до окончательного слияния с Перу оставалось, может, не так далеко, как раньше, но по-прежнему очень неблизко.

Можно ли у кого-то из мачигенга взять интервью по-испански? Кое у кого можно, но таких людей мало. Например, вождь Нового Света говорит по-испански свободно. Как так? Теперь у мачигенга есть вожди? Разве главная отличительная черта этого племени не состоит в том, что у них никогда не существовало политико-иерархической организации с начальниками и подчиненными? Да, конечно. Так было прежде. Но эта их анархическая система объяснялась, в первую очередь, разобщенностью, теперь же, когда они собраны в деревнях, им нужны власти.

Управляющий Новым Светом — человек молодой, превосходный лидер общины, закончил Библейскую школу в Масамари. Так он, значит, пастор-протестант? Ну да, можно и так сказать. А перевод Библии на мачигенга уже существует? Конечно, Снейлы сами им занимались. В Новом Мире и Новом Свете мы увидим и сможем заснять экземпляры Нового Завета на мачигенга.

Я вспомнил Образинку, наш последний с ним разговор в кафешке на проспекте Испании. У меня в ушах снова зазвучали его обвинения и пророчества. Судя по рассказу Снейлов, все тогдашние страхи Сауля Суратаса сбывались. Как и прочие племена, мачигенга вступили в процесс аккультурации: Библия, двуязычные школы, лидер-евангелист, частная собственность, деньги, торговля, наверняка западная одежда… Стало ли это все благом для них? Принесло ли конкретные преимущества каждому и общине в целом, как энергично утверждали Снейлы? Или, скорее, свободные и независимые «дикари» начали превращаться в «зомби», в карикатуру на западных людей, по выражению Образинки? Хватит ли мне короткого, от силы двухдневного визита, чтобы разобраться? Нет, конечно же, не хватит.

В ту ночь в бунгало на озере Ярина я долго не

мог уснуть и размышлял. Через металлическую сетку на окне я видел кусок озера с золотистой дорожкой на воде, но саму луну — которую я воображал круглой и яркой — закрывал массив деревьев. Хороший это знак или плохой, что Кашири, светило мужского пола из мифологии мачигенга, временами злое, временами благое, скрыло от меня свой запятнанный лик? Прошло двадцать три года с тех пор, как я впервые здесь ночевал, и за это время изменился, набрался самого разного опыта, постарел не только я. Мачигенга, которых я едва знал по двум кратким рассказам супругов-американцев, по свидетельству монаха-доминиканца из мадридского монастыря и по нескольким этнологическим работам, тоже пережили большие перемены. По-видимому, они уже не укладывались в образ, что я себе составил. Уже не являли собой горстку неукротимых трагических героев, общество, раскрошенное на сотни маленьких семей, вечно бегущих от других племен, от индейца с гор, от метиса, от белого, ждущих и стоически принимающих неизбежную индивидуальную и всеобщую гибель, но не отказывающихся от своего языка, от своих богов, от своих обычаев. Неодолимая меланхолия овладела мной при мысли, что это

сообщество, рассеянное в лоне бесконечных влажных лесов, сообщество, скрепляющим соком которому служили бродячие рассказчики историй, постепенно исчезает.

Сколько раз за эти двадцать три года я думал о мачигенга? Сколько раз пытался угадать их, написать их, сколько раз собирался до них доехать? По их вине любой персонаж и любое начинание, которые могли бы по какой-то причине ассоциироваться с фигурой говорителя, мгновенно зачаровывали меня. Например, бродячие певцы из сертанов штата Баия, что под низкий перебор своих гитар сплетали в пыльных селениях северо-востока Бразилии средневековые романсы с местными слухами и сплетнями. Мне достало одного взгляда на такого певца вечером на рынке в Уауа, чтобы различить за силуэтом кабокло в кожаных жилете и шляпе, поющего насмешливому кружку слушателей про принцессу Магелону и про двенадцать пэров Франции, зеленовато-желтую, украшенную симметричными красными полосами и темными пятнами кожу полуголого говорителя, который за тысячи километров оттуда, на укрытом листвой бережке реки Мадре-де-Дьос, рассказывал внимательно замершей на корточках семье о поединке дуновений между

Тасуринчи и Киентибакори, из которого появились все хорошие и плохие существа на свете.

Но еще больше, чем трубадур из сертана, с невероятной силой мне напомнил о говорителе мачигенга ирландский щанхы. Щанхы: «рассказчик старых историй», «человек, который много знает» — походя перевел кто-то на английский в одном дублинском пабе. Как еще, если не воспоминанием о мачигенга, объяснить мое волнение, внезапный галоп сердца и тот факт, что я прицепился к этому слову, стал расспрашивать, а позже не отставал от ирландских знакомых и друзей и морочил им головы, пока они не отвели меня к щанхы? Пронеся через века наследие древних аэдов Гибернии, чьи силуэты сливаются в ночи времен с кельтскими легендами и мифами, составляющими культурную основу Ирландии, щанхы и в наши дни в жарком и дымном пабе, на вечеринке, замершей под чарами его слова, или в семейном доме, у камина, пока снаружи каплет дождь или рычит буря, рассказывает старые-престарые притчи, истории о подвигах, о роковой любви, о странных чудесах. Это может быть кто угодно: хозяин паба, дальнобойщик, пастор, нищий, любой человек, которого таинственным образом коснулась волшебная палочка

мудрости, искусства рассказывать, вспоминать, заново придумывать и обогащать рассказанное на протяжении веков, посланник из времен мифа и магии, предшествовавших истории, и современные ирландцы часами самозабвенно слушают его. Я всегда знал, что те мои яркие переживания от знакомства с щанхы в Ирландии были метафорой, что на самом деле я через него смог как бы послушать говорителя, почувствовать, будто я сижу в тесном кругу мачигенга.

И вот наконец, на следующее утро, по совершенно неожиданному стечению обстоятельств, да еще и под крылом супругов Снейл, мне предстояло познакомиться с мачигенга. Получается, жизнь похожа на роман? Получается, так. «Да мать твою за ногу, Алехандро, я же сказал, в конце я хочу крупный план!» — не просыпаясь прорычал Лучо Льоса на соседней койке и перевернулся под москитной сеткой на другой бок.

Мы вылетели на рассвете, на двух одномоторных самолетиках «Цессна», по три человека в каждом. Пилот того, на котором летел я, несмотря на детское личико, уже несколько лет работал с лингвистами-миссионерами — еще в Центральной Америке и на Борнео. Утро было ясное, прозрачное, и с высоты отлично просматрива-

лись все лабиринты сначала Укаяли, а потом Урубамбы — их островки, их заикающиеся лодки с навесными моторами, называемые пекепеке, их каноэ, ручьи, теснины, притоки — и крошечные деревеньки, выглядевшие как уставленные хижинами красноватые проплешины в необозримой зеленой равнине. Мы пролетели над исправительной колонией на реке Сепа и над доминиканской миссией на Сепауа, а потом отклонились от верхнего течения Урубамбы и последовали вдоль запутанного русла Мипайи, илистой змеи, на берегах которой в десять часов утра углядели первый пункт нашего назначения: Новый Мир.

Название реки, Мипайя, имело исторические отзвуки. Сто лет назад под этим растительным колтуном множились каучуковые лагеря. После того, как племя, не оказавшее активного сопротивления, чуть не вымерло во время каучуковой лихорадки, разоренные добытчики уже в 20-е годы решили устроить в этой местности асьенды и обеспечить себя рабочей силой с помощью старой системы охоты на индейцев. И тогда здесь, на берегах Мипайи, мачигенга единственный раз в истории взбунтовались. Когда очередной землевладелец сунулся к ним в надежде забрать

молодых мужчин и женщин, мачигенга встретили его тучей стрел и убили и ранили несколько виракоч, прежде чем их самих застрелили. Сельва покрыла место печальных событий густым ковром стволов, ветвей, листьев, не оставила и следа низости. Перед посадкой пилот сделал несколько кругов над примерно двадцатью хижинами с коническими крышами, чтобы мачигенга Нового Мира убрали детей с единственной улицы, выполнявшей также функции взлетно-посадочной полосы.

Снейлы летели вместе со мной, и, едва завидев супругов, человек сто из деревни окружило их с радостными взволнованными возгласами. Все старались потрогать их, похлопать по плечу, и все одновременно говорили на ритмичном, шершавом языке, полном разнообразных модуляций. Кроме учительницы, на которой были юбка, блузка и сандалии, все ходили босые; мужчины в коротких набедренных повязках или в кушмах, женщины тоже поголовно в кушмах — хлопковых туниках, серых или цвета охры, типичных для многих племен. Только у некоторых стариков грудь была обнажена, а вокруг бедер обернут кусок тонкого полотна. Почти у всех, мужчин и женщин, были красные или черные татуировки.

Вот они, передо мной. Мачигенга.

Но я даже не успел растрогаться. Мы немедленно начали работать, пока не ушел хороший свет, и, к счастью, никакая катастрофа не помешала нам снять хижины, выглядевшие совершенно одинаково: простая платформа из бревен на сваях, тонкие тростниковые перегородки в качестве стен (не со всех четырех сторон), кровля из связки пальмовых листьев и спартанские интерьеры — свернутые циновки, корыта, рыболовные сети, луки, стрелы, кучки маниока и маиса, кое-какие сосуды. Кроме того, нам удалось записать интервью с учительницей — она единственная в деревне говорила по-испански, хоть и с трудом. Она же заведовала магазинчиком, куда раз в две недели привозили продукты на лодке. Мои попытки выведать у нее хоть что-то про говорителей ни к чему не привели. Понимала ли она, кого я имею в виду? Вроде бы нет. Смотрела на меня удивленно, немного встревоженно, будто умоляя выражаться яснее.

Другие мачигенга, хоть с ними мы могли говорить только при посредничестве Снейлов, тоже охотно пошли нам навстречу; мы записали несколько танцев и песен, а одна пожилая женщина показала сложный процесс нанесения на

лицо геометрических узоров краской из ачиоте. Мы засняли молодые посевы, птичники, школу, и учительница сказала, что мы обязательно должны послушать, как ее подопечные исполняют на мачигенга гимн Перу. У одного мальчика лицо было деформировано утой, разновидностью проказы, которую, как считают мачигенга, вызывает укус розового светлячка с брюшком, усеянным сверкающими точечками, и судя по тому, как он непринужденно и естественно выступал и играл с другими детьми, непохоже было, по крайней мере, на первый взгляд, чтобы его дразнили или обижали из-за этой особенности.

Под вечер, когда мы уже паковали вещи, чтобы отправиться в Новый Свет, где нам предстояло заночевать, мы узнали, что Новому Миру вскоре, вероятно, придется переместиться. Что же случилось? Один из тех капризов природы, что составляют основу жизни в сельве. Мипайя в последний сезон дождей так сильно поднялась, что поменяла русло, и теперь, когда воды вернулись к зимнему уровню, жителям деревни приходилось очень долго идти до реки. Они подыскивали новое место, не столь подверженное случайностям. Наверное, это было нетрудно для тех, кто всю жизнь провел в движении, — по-видимо-

му, даже оседлые селения рождались у них под древним знаком кочевья, — да и хижины из бревен, тростника и пальмы наверняка гораздо легче разбирались и собирались, чем городские дома.

Нам объяснили, что двадцать минут полета от Нового Мира до Нового Света обманчивы: то же расстояние, если идти по сельве, занимало не меньше недели, а на каноэ — пары дней.

Новый Свет был самым старым из поселений мачигенга (ему только что исполнилось два года), и хижин и людей в нем насчитывалось в два раза больше, чем в Новом Мире. Как и там, в Новом Свете только Мартин, староста и учитель двуязычной школы, был одет в рубашку, брюки и ботинки и пострижен на западный манер. Довольно молодой, субтильный, прямотаки траурно серьезный, он бегло говорил на непринужденном, немного рваном испанском, проглатывая концы слов. Снейлов и здесь встретили бурно и шумно, и в течение всего дня и всего вечера мы наблюдали, как группки людей терпеливо ждут, пока со Снейлами распрощаются предыдущие, потом подходят и заводят скрипуче-шелестящий, сопровождаемый активными жестами и мимикой разговор.

В Новом Свете мы тоже сняли танцы, песни,

соло на барабане, школу, магазинчик, посевы, ткацкие станки, татуировки и интервью с лидером общины, выпускником Библейской школы в Масамари, очень худым и величественным юношей, бритым почти наголо. Надо думать, он был прилежным учеником, поскольку говорить предпочитал не о соплеменниках, а о Слове, о Писании, о Святом Духе. Всякий раз, не желая отвечать на вопрос, он начинал ловко распространяться на абстрактные библейские темы и долго не останавливался. Я дважды попытался закинуть удочку насчет говорителей, и он дважды непонимающе воззрился на меня и снова разъяснил мне, что вот эта книга у него на коленях — это Слово Божие и апостолов Его на языке мачигенга.

После работы институтские пилоты отвели нас купаться на протоку Мипайи, минутах в пятнадцати пешего пути от деревни. Начинались сумерки — самый таинственный и прекрасный час в Амазонии, если только нет дождя. Место тоже оказалось совершенно волшебное. Рукав Мипайи там резко сворачивал, огибая скалистый утес, и образовывал затон, где можно было плавать в тихих и теплых водах или под защитой скал в шутку сражаться с течением. Даже немно-

гословный Алехандро Перес плескался и хохотал от счастья в этом амазонском джакузи.

Когда мы вернулись в Новый Свет, юный Мартин (запредельно учтивый и невероятно элегантный в каждом своем движении) пригласил меня на чашку вербенового чая у него в хижине, стоявшей рядом со школой и с магазинчиком. У него там был радиоприемник для связи с базой в Яринакоче. Мы сидели вдвоем в комнате, которая дышала такой же аккуратностью, как ее хозяин. Лучо Льоса и Алехандро Перес пошли помогать пилотам разгружать гамаки и москитные сетки для предстоящего ночлега. Быстро темнело, вокруг нас проступали пятна теней. Вся сельва разом застрекотала, как всегда в это время, напоминая нам, что в ее зеленых недрах миром правят мириады насекомых. Небо потихоньку усеивалось звездами.

Мачигенга правда верят, что звезды — это свет от головных уборов, которые носят духи? Мартин невозмутимо кивнул. Что падающие звезды — это стрелы ананерииите, божеств-детей, а роса — их моча? Мартин со смехом подтвердил: да, верят. А теперь, когда мачигенга перестали идти и пустили корни в деревнях, солнце упадет? Скорее всего, нет: Бог не даст ему упасть.

Мартин улыбнулся и пристально посмотрел на меня: откуда я узнал про все эти верования? Я ответил, что вот уже четверть века интересуюсь мачигенга и стараюсь читать все, что про них пишут. И рассказал — почему. Пока я говорил, веселое и дружелюбное выражение сползало с его лица, сменяясь серьезным, недоверчивым. Он слушал сурово, внимательно, застыв совершенно неподвижно.

— Как видите, мои вопросы про говорителей — не простое любопытство, а нечто гораздо более глубокое. Для меня эти люди очень важны. Возможно, как и для мачигенга, Мартин. — Он так и сидел, затихнув, только в глазах поблескивал настороженный огонек. — Почему вы не захотели ничего мне о них рассказать? Учительница из Нового Мира тоже ни словом не обмолвилась. Почему говорители — такая тайна, Мартин?

Он заверил меня, что не понимает, о чем я толкую. Какие еще говорители? Он никогда о них не слышал, ни здесь, ни в других селениях. Может, в других племенах они и есть, но не среди мачигенга. В эту минуту зашли Снейлы. Они надеются, мы не выпили всю вербену, самую душистую в Амазонии. Мартин сменил тему, и мне показалось, что благоразумнее будет не настаивать.

Но час спустя, когда мы распрощались с Мартином, когда я повесил свой гамак и москитную сетку в выделенной нам хижине и мы со Снейлами вышли пройтись вокруг деревни и подышать ночной прохладой, я не мог не заговорить вновь.

— Я слишком недолго пробыл среди мачигенга и многого, конечно же, не понял, — начал я. — Но как минимум одну вещь понял. Очень важную вещь.

Небо было как лес звезд, а луна пряталась за тучей и лишь угадывалась по размытому мерцанию. На одном конце Нового Света разожгли костер, и рядом с ним мелькали мимолетные силуэты. Во всех хижинах было темно; только в нашей, метрах в пятидесяти, горела зеленоватым светом переносная лампа. Снейлы ждали, когда я продолжу. Мы медленно шагали по мягкой земле, поросшей высокой травой. Я был в сапогах, но все равно начинал чувствовать на лодыжках укусы москитов.

— Что же это за вещь? — не вытерпела миссис Снейл.

— Что все очень относительно, — задумчиво проговорил я. — Я имею в виду, назвать деревню Новый Свет, а вождя — Мартин. Новый Завет на мачигенга, аборигены, которые учатся в библей-

ских школах и становятся пасторами. Резкий переход от кочевой жизни к оседлости. Ускоренная христианизация, приобщение к западному образу жизни. Предполагаемая модернизация. Я понял, что это лишь фасад. Неважно, что они начали торговать и пользоваться деньгами, — собственная традиция перевешивает в них все это.

Я умолк. Обижаю ли я Снейлов? Я сам не знал, какой вывод мне сделать из моего поспешного рассуждения.

— Ну да, конечно, — сказал несколько сбитый с толку Эдвин Снейл, кашлянув. — Это естественно. Вековые верования и обычаи не могут вот так взять и кануть в небытие. Тут требуется время. Главное, что они уже начали меняться. Нынешние мачигенга совсем не такие, как те, с кем мы познакомились, когда только сюда приехали, уверяю вас.

— Я заметил, что в них еще остались глубины, куда не добраться, — перебил я его. — И учительницу из Нового Мира, и Мартина я спрашивал про говорителей. Оба отреагировали одинаково: отрицали, что таковые существуют, сделали вид, что даже не знают, о чем я. Это означает, что даже у самых ассимилированных мачигенга,

таких, как учительница и Мартин, сохраняется некая верность традиционным представлениям. Определенные табу, от которых они не готовы отказаться. Поэтому они тщательно оберегают их от чужаков.

— Говорителей? — переспросил Эдвин Снейл. В голосе его звучало искреннее удивление.

Повисло долгое молчание; пение невидимых ночных насекомых едва не оглушило нас. Он что, сейчас тоже спросит у меня, кто такие говорители? Снейлы, следом за учительницей и вождем-пастором, тоже станут утверждать, что никогда про них не слышали? Я подумал, а вдруг говорителей и вправду не существует? Вдруг я их сам выдумал, а потом поселил в ложных воспоминаниях, чтобы придать им реальности?

— Ах, говорителей! — воскликнула миссис Снейл. И то ли проскрипела, то ли прошелестела то самое слово или фразу: звук был, как будто шагаешь по листьям. Мне показалось, что он несется ко мне сквозь время из бунгало на берегу озера Ярина, где я впервые услышал его, когда только-только перестал быть подростком.

— А-а-а, — протянул Эдвин Снейл и повторил скрипуче-шелестящий звук дважды, словно в недоумении. — Говорители. Speakers. Да, конеч-

но, можно и так перевести.

— А откуда вы про них знаете? — спросила миссис Снейл, плавно поворачиваясь ко мне.

— Так от вас же, от вас двоих, — пробормотал я.

Я скорее не увидел, а догадался, что в темноте они широко открывают глаза и обмениваются непонимающим взглядом. И рассказал им, что с того самого вечера в бунгало на берегу озера Ярина говорители жили со мной, будоражили мое воображение, не давали мне покоя, и я тысячу раз пытался представить, как они идут через леса, собирают и несут с собой истории, рассказы, сплетни, выдумки, плывут от одного островка мачигенга к другому по бескрайнему амазонскому морю, отданные на волю всех невзгод. По какой-то необъяснимой причине, сказал я Снейлам, существование говорителей, их ремесло и роль в жизни их народа все это время являлись для меня стимулом в моей собственной работе, источником вдохновения, примером, на который я хотел бы равняться. Я вдруг заметил, что объясняюсь слишком возбужденно, и замолчал.

Не сговариваясь, мы остановились у кучи веток и чурбанов в центре открытого пространства, расчищенного под костер. Присели и привалились

к ним спинами. Теперь на небе ясно виднелся оранжевато-желтый растущий Кашири, окруженный своим огромным гаремом мерцающих светлячков. Полно было и москитов, и комаров, и приходилось все время махать руками, чтобы отогнать их от лица.

— Что ж, это очень любопытно. Кто бы мог подумать, что вы про них помните и, тем более, что они сыграли такую роль в вашей жизни? — сказал наконец Эдвин Снейл, просто чтобы не молчать. Видно было, что он совершенно изумлен и ему отчего-то неловко. — Я даже не помню, чтобы мы в тот раз затрагивали тему рассказчиков, да? Или, как вы их называете, говорителей, да? Любопытно, любопытно.

— Меня совершенно не удивляет, что Мартин и учительница из Нового Мира не захотели с вами про них говорить, — вставила миссис Снейл. — Мачигенга не любят этого касаться. Это очень оберегаемая, очень тайная тема. Они даже с нами не делятся, а мы здесь живем так долго, что некоторых знаем с рождения. И я этого не понимаю. Они всегда все рассказывают — про свои верования, про ритуалы с аяуаской, про колдунов. Ничего не скрывают. А вот про говорителей скрывают. Это единственный вопрос, которого они

избегают. Мы с Эдвином много раз задумывались, почему он так табуирован.

— Да, странно, — кивнул Эдвин Снейл. — Мачигенга очень общительные и совершенно не стесняются говорить ни о чем. О таких информантах только мечтать — спросите любого антрополога, который здесь бывал. Может, им не нравится, когда кто-то знает про говорителей, потому что эти самые говорители хранят семейные тайны? Им известно все про любого человека из племени. У вас есть какая-то поговорка на этот счет, сейчас вспомню. Грязное белье стирают дома, что-то такое, да? Возможно, мачигенга отказываются рассказывать о говорителях как раз из похожих соображений.

Миссис Снейл засмеялась в темноте.

— Ну, меня твоя теория вообще не убеждает, — сказала она. — Мачигенга не испытывают никакого стыда, говоря об интимных вещах. Если бы вы знали, сколько раз они ошеломляли меня и вгоняли в краску своими рассказами…

— В любом случае, уверяю вас, вы ошибаетесь, если думаете, что это табу религиозного характера, — сказал Эдвин Снейл. — Ничего подобного тут и в помине нет. Говорители — не колдуны и не жрецы, как серипигари или мачиканари.

Они именно то, что значит их название, — говорители.

— Я знаю, — ответил я. — Про это вы мне рассказали еще в нашу первую встречу. И именно это меня больше всего трогает: для мачигенга так важны простые рассказчики, что они даже считают нужным хранить их в тайне.

Время от времени мимо нас проходила тихая тень, кратко скрипела-шелестела, Снейлы скрипели-шелестели в ответ, видимо, желая доброй ночи, и тень исчезала во мраке. Из хижин не доносилось ни звука. Вся деревня уже спит?

— И за все эти годы вы ни разу не слышали говорителя? — спросил я.

— Мне ни разу так не повезло, — сказала миссис Снейл. — Меня не допускали и не допускают до сегодняшнего дня. А вот Эдвин слышал.

— Аж дважды! — усмехнулся он. — Правда, за четверть века не так уж много, да? Надеюсь, я вас не разочарую, если скажу, что мне не хотелось бы повторить этот опыт.

В первый раз это получилось случайно, лет, по меньшей мере, десять назад. Снейлы вот уже несколько месяцев жили с небольшой группкой мачигенга на реке Тикомпиния, и однажды Эдвин, оставив жену, отправился навестить

другую семью, в паре часов на каноэ вверх по течению. С ним поплыл мальчик, помогал ему грести. Когда они прибыли, то обнаружили не, как обычно, пять или шесть знакомых, а по меньшей мере человек двадцать, и некоторые пришли очень издалека. Все, старики и дети, мужчины и женщины, сидели на корточках вокруг человека, тоже сидевшего, только скрестив ноги, и что-то вещавшего, обращаясь к собравшимся. Это был говоритель. Никто не воспрепятствовал, когда Эдвин Снейл и мальчик тоже уселись в кружок. И говоритель не прервал монолога, пока они устраивались поудобнее.

— Он был старенький и говорил так быстро, что я едва мог за ним угнаться. Говорил, видимо, уже долго, но совсем не выглядел уставшим. И продолжал еще несколько часов. Время от времени ему передавали тыковку с масато, чтобы промочил горло. И я его точно раньше нигде не видел. Вроде бы совсем пожилой, но вы же знаете, здесь, в сельве, люди быстро стареют. У мачигенга тридцать лет — уже старость. Низенький, крепкий, очень экспрессивный. Я, вы, да любой, кто проговорил бы столько часов подряд, охрип бы и выбился из сил. Но только не он. Он все говорил и говорил, не теряя энергии. В конце концов, это было его

ремесло, и, без сомнения, владел он им хорошо.

О чем он говорил? Ох, разве упомнишь! Это был полный хаос. Обо всем понемногу, что приходило ему в голову. О том, что он делал накануне, и о четырех мирах вселенной мачигенга, о своих путешествиях, о волшебных травах, о людях, с кем он был знаком, о богах, божках и прочих сверхъестественных существах из их пантеона. О животных, которые ему попадались, о небесной географии, о лабиринте рек, чьи названия никому не под силу запомнить. Эдвин Снейл с трудом следил за мощным потоком слов, перескакивавшим от урожая маниока к полчищам демонов Киентибакори, духа зла, а оттуда — к родам, бракам, смертям в разных семьях и к ужасам тех времен, когда деревьям пускали кровь, как мачигенга называли каучуковую лихорадку. Очень скоро внимание Эдвина Снейла переместилось с самого говорителя на то, как зачарованно, неподвижно его слушали, как встречали его шутки взрывами хохота или вместе с ним огорчались. Глаза жадно вперены в говорителя, рты открыты, головы подняты — мачигенга не упускали ни единой паузы, ни единой интонации в его речи.

Я слушал Эдвина Снейла, как мачигенга слушали говорителя. Да, они существуют и они похожи

на тех, что являлись мне во снах.

— На самом деле я плохо помню, что он рассказывал, — сказал Эдвин Снейл. — Ну, вот несколько примеров. Какая же мешанина! Помню, описывал церемонию инициации молодого шамана, которую с помощью аяуаски проводил один серипигари. Пересказывал явившиеся шаману видения. Странные, бессвязные, как какая-нибудь современная поэзия. Говорил про свойства птички, которая называется чобибурити: если закопать растолченные косточки ее крыла внутри дома, то согласие в семье гарантировано.

— Мы воспользовались этим рецептом, и что-то не очень сработало, — пошутила миссис Снейл. — Ты как считаешь, Эдвин?

Он рассмеялся.

— Говорители их развлекают, это их фильмы, их телевидение, — помолчав, сказал он уже всерьез. — Их книги, их цирк, словом, все развлечения, которые есть у нас, цивилизованных людей. У нас их много, а у них одно. Да, говорители — это развлечение, не более того.

— Не менее того, — мягко поправил я.

— Не менее? — переспросил он растерянно. — Ну, пусть будет не менее. Но, вы уж извините, я не думаю, что они хоть как-то связаны с религи-

ей. Поэтому нас так и удивляет таинственность, которую вокруг них разводят.

— Люди всегда разводят таинственность вокруг того, что им дорого, — эта мысль только что пришла мне в голову.

— Тут нет никаких сомнений, — согласилась миссис Снейл. — Говорители, безусловно, им дороги. Просто мы не сумели выяснить — почему.

Мимо прошла очередная быстрая тень, Снейлы зашелестели-заскрипели. Я спросил, удалось ли тогда Эдвину побеседовать со старым говорителем.

— Почти нет. К тому времени, как он замолчал, я совсем изнемог, у меня болели все кости. Я сразу же уснул. Представляете себе, сидеть четыре-пять часов, не меняя позы, да еще и перед этим целый день грести против течения. И вслушиваться в этот фейерверк историй. Я вообще ничего не хотел. Лег спать, а когда проснулся, говоритель уже ушел. Мачигенга про них рассказывать не любят, поэтому больше я о том говорителе ничего не слышал.

Вот он. В окружавшей меня темноте Нового Света, полной шорохов, я видел его: кожа то ли медная, то ли зеленоватая, собравшаяся от возраста в бесчисленные складки; скулы, нос, лоб

украшены полосами и кругами, защищающими от когтей и клыков хищника, от беспощадной непогоды и заколдованных дротиков врага; маленького роста, узловатые ноги, короткая повязка на талии, в руках, несомненно, лук и колчан со стрелами. Вот он: идет через кусты, мимо стволов, почти невидимый в непролазной чаще, идет, идет, проговорив десять часов кряду, идет к своей следующей публике, чтобы говорить дальше. Как он начал? Это занятие переходит от отца к сыну? Или человек сам его выбирает? Или его навязывают другие?

Голос миссис Снейл стер этот образ.

— Расскажи ему про другого говорителя, — сказала она. — Про того, агрессивного. Про альбиноса. Ему будет интересно.

— Ну, я точно не знаю, альбинос он был или нет, — засмеялся в темноте Эдвин Снейл. — Мы его между собой называли «гринго».

Во второй раз Эдвин Снейл встретился с говорителем не случайно. Он жил на реке Тимпия, у старых знакомых, когда вдруг к ним сошлись другие семьи со всей округи, и все пребывали в страшном возбуждении. Эдвин заметил, что от него что-то скрывают: показывают на него, отходят подальше и только там принимаются

что-то обсуждать. Он понял причину их тревоги и сказал, пусть не волнуются, он сейчас же уйдет. Но мачигенга быстро посовещались и по настоянию хозяев дома решили, что он может остаться. Однако, как только появился долгожданный визитер, разгорелась долгая перепалка: говоритель довольно грубо потребовал, чтобы чужак немедленно уходил, а семья хозяев настаивала, чтобы он остался. Эдвин Снейл предпочел распрощаться: он не хочет, чтобы из-за него все поссорились. Связал свои вещи в узелок и зашагал прочь. Но мачигенга, у которых он жил, нагнали его. Он может вернуться и остаться. Они переубедили говорителя.

— На самом деле сомнения их не покинули, а уж говоритель — тот по-прежнему явно был против, — добавил Эдвин Снейл. — Ему совершенно не нравилось мое присутствие. Его враждебность проявлялась в том, что он на меня ни разу не взглянул. Есть у них такая манера: своей ненавистью сделать человека невидимым. Но мы с той семьей с Тимпии были в очень близких отношениях, в духовном родстве, называли друг друга родителями и детьми…

— Для мачигенга важен закон гостеприимства?

— Скорее закон родства, — сказала миссис Снейл. — Родственникам, если они приходят в гости, оказывается царское обращение. Такое ведь редко случается — все живут на большом расстоянии друг от друга. Поэтому они вернули Эдвина и смирились с тем, что он будет слушать говорителя. Не хотели обидеть родича.

— Лучше бы они были не такие гостеприимные и отпустили меня, — вздохнул Эдвин Снейл. — До сих пор, как вспомню, кости начинают ныть, а главное — рот болеть: я там весь иззевался.

Говоритель начал под вечер, еще до заката, и проговорил всю ночь без остановки. Когда он умолк, солнце уже касалось крон деревьев. Утро было в разгаре. Эдвин Снейл так отсидел ноги, так затек, что остальным пришлось помочь ему подняться, сделать первые шаги, заново научиться ходить.

— Мне никогда в жизни не было так паршиво, — пробормотал он. — Я умирал от усталости, от неудобства. Целую ночь боролся со сном, терпел боль в мышцах. Если бы я встал, они бы страшно обиделись. За рассказами я следил только первый час, от силы два. Все остальное время делал невероятные усилия, чтобы не заснуть. И все равно голова у меня валилась то на одну

сторону, то на другую, как язык у колокола.

Он тихонько засмеялся, погрузившись в воспоминания.

— У Эдвина до сих пор случаются кошмары, никак не может забыть ту бессонную ночь, как он сдерживал зевоту и руками разминал себе ноги, — сказала миссис Снейл, тоже со смехом.

— А говоритель? — спросил я.

— У него было крупное родимое пятно, — сказал Эдвин Снейл. Помолчал, будто припоминая или подыскивая слова для описания. — А волосы даже рыжее моих. Странный тип. Из тех, что мачигенга называют «серигоромпи». Это значит — эксцентричный, не такой, как нормальные люди. За эти морковные волосы мы его между собой зовем альбиносом, или гринго.

Москиты не на шутку ополчились на мои лодыжки. Я чувствовал их ланцеты-жала и словно видел, как они впиваются мне в кожу — она теперь распухнет от крошечных, невыносимо зудящих абсцессов: такую цену мне приходилось платить всякий раз, как я приезжал в сельву. Амазония ни разу надо мной не сжалилась, не освободила от этой пошлины.

— Крупное родимое пятно? — выговорил я, с трудом ворочая языком. — Вы имеете в виду, ута?

Как у того мальчика в Новом Мире…?

— Нет, именно родимое пятно, темное такое, — прервал меня Эдвин Снейл, выставив вперед руку. — Оно покрывало всю правую половину его лица. Это, знаете ли, впечатляющее зрелище. Я никогда не видел человека с таким пятном, ни среди мачигенга, ни вообще. Да и его самого больше никогда не видел.

Комары тоже кусали меня во все открытые части тела: в лицо, в шею, в руки, в пальцы. Тучи, скрывавшие Кашири, разошлись, и теперь он, неполный, ясный, глядел на нас. По всему телу, с головы до пят, у меня пробежал озноб.

— У него были рыжие волосы? — очень медленно и глухо произнес я. Во рту пересохло; руки, наоборот, вспотели.

— Да, даже я не такой рыжий, как он, — весело сказал Эдвин Снейл. — Прямо настоящий гринго, честное слово. Может, и вправду альбинос. Не то чтобы я его внимательно рассматривал. В таком состоянии, как я был после сеанса рассказов… Все равно что под наркозом. А когда проснулся, он уже ушел, естественно. Чтобы со мной не разговаривать и не смотреть на меня.

— На ваш взгляд, сколько ему было лет? — кое-как спросил я. На меня навалилась такая

усталость, будто это я говорил всю ночь.

Эдвин Снейл пожал плечами.

— Кто знает. Вы, наверное, уже заметили, как трудно определить возраст мачигенга. Сами они его не знают, на наш манер не считают и очень быстро достигают, скажем так, общего среднего возраста. Становятся взрослыми мачигенга. Но, скорее всего, он был младше меня. Ваш ровесник, может, даже чуть моложе.

Я фальшиво откашлялся, чтобы скрыть охватившее меня волнение. И вдруг дико, невыносимо захотел курить. Словно все поры в теле раскрылись и потребовали немедленной затяжки, тысячи затяжек. За пять лет до этого я выкурил, как я считал, последнюю сигарету в жизни и был уверен, что избавился от них навсегда; меня довольно давно раздражал даже сам запах табака, и вот, пожалуйста, во мраке Нового Света из каких-то таинственных глубин во мне поднялось всепобеждающее, неотложное желание закурить.

— Он хорошо говорил на мачигенга? — услышал я со стороны собственный тихий голос.

— Хорошо? — переспросил Эдвин Снейл. — Ну, он говорил, говорил не останавливаясь, без пауз, без точек. — Он засмеялся, поняв, что преувели-

чил. — Как говорят говорители. Рассказывал обо всем на свете. Как ему и положено.

— Да, — сказал я. — Я имею в виду сам язык. Он свободно говорил? Не могло такого быть, чтобы…?

— Чтобы что? — спросил Эдвин Снейл.

— Ничего, — ответил я. — Извините, ничего, ничего.

Я все еще пребывал будто во сне, очень внимательно вникал в свои ощущения — ланцеты москитов, укусы комаров, охота закурить; чувствуя странную боль в челюстях и языке, как будто они износились от долгого использования, кажется, спросил у Эдвина Снейла, давно ли это случилось — «О, года три с половиной назад, наверное», ответил он, — потом уточнил, видел ли он его с тех пор еще хоть раз, доходили ли до него слухи, получал ли какие-то сведения, и услышал, как на все три вопроса он отвечает отрицательно: я же и сам знаю, мачигенга не очень-то любят распространяться на эту тему.

Я попрощался со Снейлами (они ночевали в хижине Мартина), пошел к себе, разбудил Лучо Льосу и стрельнул у него сигарету. «С каких это пор ты куришь?» — удивился он, открывая пачку неуклюжими спросонья пальцами.

Я не закурил. Держал сигарету в руках, во рту, изображал жесты курильщика всю ту долгую ночь, тихо покачивался в гамаке, слышал размеренное дыхание Лучо, Алехандро и пилотов, слышал, как стрекочет лес, и чувствовал, как медленно, одна за другой, проходят торжественные, невообразимые, оцепенелые секунды.

В Яринакочу мы вылетели очень рано. Пришлось сделать непредвиденную посадку, потому что на полпути нас застала гроза. В маленьком селении кампа на берегу Урубамбы, где мы укрылись, жил миссионер-американец — такими бывают фолкнеровские персонажи: одна всепоглощающая идея, беззаветное упрямство, пугающий героизм. Он приехал в эту глушь много лет назад, с женой и маленькими детьми, и я до сих пор вижу, как под проливным дождем он энергично дирижирует гимнами, которые сам же, чтобы подать пример, громогласно запевает, а навес над ним вот-вот рухнет от напора водяных смерчей. Человек двадцать кампа едва шевелили губами и вроде бы не издавали ни звука, но смотрели на него пристально, внимательно, завороженно, как, должно быть, мачигенга смотрели на своих говорителей.

Когда мы снова взлетели, Снейлы спросили,

как я себя чувствую. Я ответил — превосходно, просто немного устал, потому что мало спал. В Яринакоче мы немедленно запрыгнули в джип до Пукальпы, чтобы успеть на фосетовский[13] рейс в Лиму. В самолете Лучо спросил: «Чего у тебя такое лицо? Что у нас на сей раз хреново получилось?» Я чуть было не признался ему, почему я такой молчаливый и пришибленный, но понял, что просто не смогу. Это все не умещалось в историю, которую можно вот так рассказать другу: слишком нереально и литературно, чтобы показаться правдоподобным; слишком серьезно, чтобы представить как забавный случай.

Теперь я знал, почему это табу. Знал? Да. Могло так быть? Да, могло. Поэтому они старались о них не упоминать, поэтому ревностно скрывали от антропологов, от лингвистов, от миссионеров-доминиканцев последние двадцать лет, поэтому в работах современных этнологов о мачигенга не находилось никакой информации. Они оберегали не говорителей как таковых, не абстрактную фигуру. Они оберегали его. По его же просьбе, в этом нет сомнений. Не посвящать виракоч в существование этого странного черенка, привив-

---

[13] Примечания: 13
«Фосет» (Faucett) — перуанская авиакомпания (1928–1997).

шегося к племени. Они много лет делали, как он попросил, прятали его внутри табу, затем распространившегося на говорителей как таковых, на абстрактную фигуру. Если это так, значит, они его безмерно уважают. Если это так, значит, он стал одним из них.

Мы начали монтаж тем же вечером, точнее, ночью, после того, как съездили по домам помыться и переодеться, а я зашел в аптеку за мазью и антигистаминным от москитных укусов. Выбрали формат: что-то вроде путевого дневника, в котором я буду перемежать интервью, взятые в Яринакоче и верховьях Урубамбы, своими комментариями и воспоминаниями. Моше, просматривая материал, как водится, ругал нас, что мы все сняли не так, как надо было, а чего надо было, того не сняли. И тут я вспомнил, что он тоже еврей.

— Слушай, а как у тебя отношения с вашим избранным народом тут, в Перу?

— Хреноватые, прямо скажем, — ответил Моше. — А что такое? Хочешь обрезание сделать?

— Не совсем. Есть какой-то способ узнать, как идут дела у семьи, которая переехала в Израиль?

— Мы что, будем снимать «Вавилонскую башню» про кибуцников? — заинтересовался

Лучо. — Тогда нужно будет сделать еще одну про палестинских беженцев. Но мы же вроде сворачиваемся на следующей неделе.

— Их фамилия Суратас. У отца, дона Соломона, был магазинчик в Бренье. Я дружил с сыном, Саулем. Они уехали где-то в начале шестидесятых. Если бы ты узнал их адрес в Израиле, было бы просто замечательно.

— Я попробую, — пообещал Моше. — Думаю, община это как-то отслеживает.

Передача про мачигенга и Институт лингвистики получилась длиннее, чем мы предполагали. Когда мы собрались сдать ее начальству, нас предупредили, что время эфира в воскресенье после нас уже куплено и если мы не уложимся ровно в час, нас все равно обрубят. Пришлось срочно, скрипя зубами, сокращать; сроки поджимали. К тому моменту мы уже делали монтаж последней «Вавилонской башни». Мы договорились, что это будет такая антология из всех двадцати четырех выпусков, но, как всегда, планы непредвиденно изменились. С самого начала нашей телевизионной одиссеи я уговаривал Дорис Гибсон дать нам интервью и помочь снять сюжет о ней: основательнице и главном редакторе журналов, предпринимательнице, непримиримой против-

нице и жертве диктатур — однажды она лично надавала пощечин полицейским, которые пришли конфисковать тираж одного из номеров ее журнала «Каретас», — словом, о женщине, которая в обществе гораздо более мачистском и зараженном предрассудками, чем нынешнее, смогла проложить себе путь и добиться успеха там, где безраздельно, как считалось, царили мужчины. К тому же она была одна из первых красавиц Лимы, за ней ухаживали миллионеры, ею вдохновлялись знаменитые поэты и художники. Порывистая Дорис отличалась при этом застенчивостью и все время мне отказывала: мол, камера ее пугает. Но на нашей последней неделе вдруг передумала и сообщила: она хочет сняться в передаче.

И мы сделали интервью, и оно вместе с антологией поставило точку в истории «Вавилонской башни». Наше детище не изменило себе и, как во все предыдущие разы, сдалось на милость непредсказуемого техспециалиста. Мы с Лучо, Моше и Алехандро смотрели последний выпуск у меня дома, под китайскую еду и ледяное пиво. По какой-то загадочной причине (впрочем, подобный небесный саботаж случался у нас на канале каждый божий день) в эфир проникла джазовая

музыка и сопровождала в качестве фона все рассказы Дорис про диктатуру генерала Одрии, про похищения, учинявшиеся полицией в редакции «Каретас», и про живопись Сервуло Гутьерреса.

Когда передача закончилась и мы помянули ее пивом, и вновь подняли бокалы за то, чтобы она никогда не воскресла, зазвонил телефон. Это была Дорис, она интересовалась, не уместнее ли было бы, вместо непонятного джаза, сопроводить интервью с ней арекипскими песнями в жанре яравi (Дорис Гибсон, вдобавок к прочим ее достоинствам, — еще и ярая фанатка всего, что происходит из Арекипы, где она выросла). После того, как Лучо, Моше и Алехандро отсмеялись над моими импровизированными объяснениями, почему мы решили вставить джаз, Моше сказал:

— Кстати, чуть не забыл. Я все выяснил.

Прошло уже больше недели, и я ему не напоминал: догадывался, какой будет ответ, и подтверждение моей гипотезы меня немного пугало.

— Похоже, они вообще не уезжали в Израиль, — сказал он. — С чего ты взял, что они уехали?

— Суратасы, ты имеешь в виду? — рассеянно спросил я, прекрасно понимая, кого он имеет в виду.

— По крайней мере, дон Соломон Суратас точно не уезжал. Умер здесь. Похоронен на еврейском кладбище, том, что на Колониальном проспекте, — Моше вытащил из кармана бумажку и зачитал: — 23 октября 1960 года. То есть это дата погребения. Мой дедушка был с ним знаком и ходил на похороны. Что касается сына, твоего друга, может, он и уехал, но точно неизвестно. Я у всех спрашивал, никто ничего не знает.

«Зато я знаю, — подумал я. — Я все знаю».

— У него было большое родимое пятно, правильно? — спросил Моше. — Дедушка даже это помнит. Вы, наверное, его Призраком оперы называли?

— Огромное, да. Мы его называли Образинкой.

VII

Случается хорошее и случается плохое. Плохое — теряется мудрость. Прежде серипигари было много, и идущий человек, если сомневался, что ему есть, как излечиться от вреда, какие камни защищают от Киентибакори и его бесенят, шел и спрашивал. Поблизости всегда находился какой-нибудь серипигари. Он курил, выпивал отвар, размышлял, беседовал с саанкарите в верхних мирах и так узнавал ответ. А сейчас их мало, да и не всем бы им зваться серипигари, потому как разве все они умеют давать советы? Их мудрость иссохла, как червивый корень, наверное. Поэтому в мире много путаницы. Так говорят идущие люди везде, куда бы я ни пришел. «Может, мы недостаточно движемся? — говорят. — Может, мы обленились? Наверное, мы не выполняем свой долг».

Так, по крайней мере, я узнал.

Самый мудрый серипигари, которого я знал, ушел. Может, он вернулся, а может, и нет. Он жил по ту сторону Большой Теснины, на реке Компирошиато. Звали его Тасуринчи. Для него не

было никаких тайн ни в нашем мире, ни в других мирах. Он умел отличать съедобных червей по цвету их колец и по тому, как они ползут. Смотрел на них вот так, прищурившись, глубоким взглядом. Долго так смотрел. И понимал. Все, что мне известно про червей, я узнал от него. Тот, что живет внутри тростника, чакокиени, хороший, а тот, что на лупуне, — плохой. Тот, что в гнилых деревьях, шигопи, — хороший, и тот, что в стеблях маниока, тоже. Очень плохой тот, что заводится в черепаховом панцире. Самый лучший, самый вкусный тот, что в отжимках маниока и маиса для масато. От этого червяка, кororo, во рту сладко, в животе чисто, им быстро наедаешься и потом спишь спокойно. А от того, который водится в трупе каймана, прибитом к берегу лагуны, наоборот, бывают язвы и видения, как от плохого дурмана.

Тасуринчи с Компирошиато делал жизнь людей лучше. У него были рецепты на любой случай. И многим он меня научил. Вот какой помню: если кто-то умирает от змеиного укуса, нужно быстро его сжечь; иначе из трупа появятся рептилии, и лес вокруг станет кишеть ядовитыми зверьми. И вот еще: недостаточно просто сжечь дом того, кто уходит. Нужно еще стоять к дому спиной.

Если смотришь на огонь, это приносит несчастья. С этим серипигари страшно было говорить. Потому что ты сразу понимал, сколько всего не знаешь. И сколько опасностей идут от незнания, наверное. «Как ты столько всего узнал? — спрашивал я у него и говорил: — Кажется, что ты жил прежде, чем мы начали идти, и все видел, и все пробовал».

«Главное — не терять терпения и позволять случиться тому, что должно случиться, — отвечал он. — Если человек живет спокойно, терпения не теряет, то у него есть время, чтобы размышлять и вспоминать», — говорил. Так он, может быть, найдет свою судьбу. Будет жить довольным, наверное. Не забудет то, чему научился. Если человек теряет терпение, забегает вперед времени, то мир становится мутным, кажется. И душа этого человека попадает в илистую паутину. Это и есть путаница. Говорят, хуже ее ничего нет. В этом мире и в душе идущего человека. Он тогда не знает, что делать, куда идти. Не умеет защищаться. «Что мне делать? Что же мне делать?» — говорит. Демоны и бесенята вмешиваются в его жизнь и играют с ней. Как дети, когда заставляют лягушек прыгать, вот так играют, наверное. Ошибки происходят от путаницы, кажется.

«Что нужно делать, чтобы не терять спокойствия, Тасуринчи?» — «Есть в меру и соблюдать запреты, говоритель». Иначе с любым может случиться то, что случилось однажды с Тасуринчи.

Что же с ним случилось?

Вот что с ним случилось. Это было прежде.

Он был великий охотник. Знал, какого размера должен быть капкан на пекари, какой узел в силке на кракса. Умел сделать ловушку для капибары. Но лучше всего стрелял из лука. Его стрелы всегда попадали прямо в цель, кажется.

Однажды он, попостившись и раскрасив тело как полагается, вышел на охоту и услышал, как недалеко от него шевелятся листья. По их шуму он понял, какой формы то, что за ними прячется, остановился и сказал: «Большой зверь!» Он медленно, но бездумно подобрался поближе. Не проверив, что там, наскоро пустил стрелу. Побежал посмотреть. Вот он лежит, мертвый. Кто же попался? Олень. Тасуринчи, конечно, очень испугался. Теперь с ним приключится какой-нибудь вред. Что бывает с тем, кто убил запретного зверя? Ни одного серипигари поблизости не оказалось и спросить было не у кого. Может, по всему телу у него выскочат волдыри? Может, его будут мучить ужасные боли? Может, тем же вечером камага-

рини вырвут у него душу и утащат на верхушку дерева, чтобы там ее клевали стервятники? Прошло много лун, и ничего не случилось. И тогда, видно, Тасуринчи возомнил о себе. «Что нельзя убивать оленей — это все обман! — говорил он родичам. — Это трусы придумали, только и всего». «Как ты смеешь так говорить?» — упрекали его родичи и испуганно оглядывались по сторонам, смотрели вверх и вниз. «Я вот убил одного и живу спокойно и счастливо», — отвечал он.

Говорил он так, говорил, а потом начал делать, как говорил. Стал охотиться на оленей. Выслеживал их до кольпы, куда они приходили лизать соленую землю. Выслеживал до заводи, где они собирались стадами, чтобы напиться. Искал пещеры, где оленихи рожали. Прятался в засаде и при виде оленя сразу же стрелял. Олени умирали и смотрели на него своими большими глазами. Как будто спрашивали с горечью: «Что ты со мной сделал?» Он закидывал их на плечо. Довольный, наверное. Не боялся испачкаться в крови своей добычи. Ничего уже не боялся, выходит. Все ему было едино. Приносил оленя домой и велел жене: «Приготовь его. Как тапира, вот так приготовь», — говорил. Она дрожала от страха, но слушалась. Иногда пыталась его предупредить.

«Эта еда принесет нам вред, — хныкала. — И тебе, и мне, и всем, наверное. Это же все равно что есть собственных детей или собственных матерей, Тасуринчи. Что мы, чончойте, что ли? Когда это мачигенга ели человечину?» Он над ней смеялся. Набив рот мясом, он жевал и говорил: «Если олени — это люди в ином обличье, то чончойте правы. Это же пища, вкусная пища. Смотри, как я пирую, как я наслаждаюсь». И пердел всласть. В лесу Киентибакори пил масато, плясал и праздновал. Его пердеж был похож на гром, отрыжка — на рык ягуара.

И действительно, сколько бы оленей ни убивал и ни поедал Тасуринчи, ничего плохого с ним не случалось. Некоторые семьи тревожились, а некоторые, по его примеру, стали есть запретное мясо. И тогда в мире наступила путаница.

Однажды Тасуринчи напал в лесу на след. Очень обрадовался. След был широкий, идти по нему было легко, и опыт говорил ему, что это целое стадо оленей. Он шел по нему много лун, предвкушал, и сердце у него сильно билось. «Интересно, сколько я поймаю? — мечтал он. — Может, столько, сколько у меня стрел. Я по одному дотащу их до дома, разделаю, засолю, и у нас надолго хватит еды».

След уходил в маленькую лагуну с темными водами. В одном ее углу был водопад, полускрытый ветками и листьями. Они приглушали шум воды, и все вместе больше походило на Инките, чем на наш мир. Так там было спокойно, наверное. Стадо приходило сюда на водопой. Здесь, должно быть, собирались олени, чтобы пастись остаток дня. Здесь, должно быть, спали, согреваясь теплом друг друга. Тасуринчи, взбудораженный находкой, осмотрел окрестности. Вот оно, лучшее дерево. Оттуда у него будет хороший обзор, оттуда он пустит стрелы. Он залез на дерево, укрылся в ветках и листьях. Стал ждать, тихонько-претихонько, как будто все его души ускользнули и осталась только пустая шкура.

Недолго ждал. Вскоре чуткое ухо — цок-цок — великого охотника различило вдали барабанный стук оленьих ног по лесу: цок-цок-цок. И вот он увидел его: высокого гордого оленя с грустным взглядом бывшего человека. У Тасуринчи загорелись глаза. Слюнки потекли. Думал, наверное: «Какой нежный, какой вкусный». Он прицелился и выстрелил. Но стрела со свистом пролетела мимо оленя, как будто повернула, чтобы не тронуть его, и затерялась в чаще. Сколько раз может умереть человек? Кажется, много. Тот олень не умер.

Даже не испугался. Что же случилось? Вместо того, чтобы удрать, он собрался напиться из лагуны. Вытягивал шею с берега, окунал и поднимал морду, щелкал языком, хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп, довольный. Будто не чувствовал опасности. Спокойно. Может, он был глухой? Может, попался олень без нюха? Тасуринчи уже приготовил вторую стрелу. Цок-цок. Увидел: идет еще олень, раздвигает ветки, шевелит листья. Встал рядом с первым и тоже начал пить. Оба выглядели довольными, пили себе и пили. Хлюп-хлюп-хлюп. Тасуринчи пустил стрелу. В этот раз тоже не попал. Что ж такое? Оба оленя по-прежнему пили, не пугались, не убегали. Что с тобой, Тасуринчи? Может, у тебя дрожит рука? Может, ты потерял зрение? Может, ты разучился рассчитывать расстояние? Что ему было делать? Он сомневался, не верил своим глазам. Мир превратился для него во мрак. И так он и стрелял. Все стрелы расстрелял. Цок-цок. Цок-цок. Олени все прибывали. Все больше и больше, много, очень много. В ушах Тасуринчи все время отдавались барабаны их копыт. Цок-цок. Казалось, они приходят не из этого мира, а из нижнего или из верхнего. Цок-цок. И тогда он, кажется, понял. Наверное. Кто попал в ловушку — они или ты сам, Тасуринчи?

Перед ним спокойно, не злясь, собирались олени. Пили, ели, нежились, спаривались. Переплетались шеями, бодались. Как будто ничего не случилось и в будущем не должно было случиться. Но Тасуринчи знал, что они знают, что он там. Может, они так мстили за своих мертвых? Мучая его ожиданием? Но нет, это оказалось только начало. То, чему суждено было случиться, должно было случиться не в час солнца в Инките, а в час Каширі. Обиженного, запятнанного. Стемнело. Небо наполнилось звездами. Каширі послал свой бледный свет. Тасуринчи видел в глазах оленей мерцающую тоску по тому, как они были людьми, печаль оттого, что они больше не идут. И вдруг олени начали двигаться, словно услышали приказ. Все разом, кажется. Собрались под деревом Тасуринчи. Стояли у его ног. Их было очень много. Целый лес оленей, получается. Один за другим, не теряя терпения, не мешая друг дружке, они начали бодать дерево. Поначалу будто играючи, потом сильнее. Еще сильнее. Тасуринчи печалился. «Упаду», — говорил. Разве мог он подумать перед выходом на охоту, что будет висеть на ветке, как обезьяна шимбильо, стараясь не утонуть в этой тьме оленей? Однако всю ночь держался. Потел, стонал, но держался,

пока руки и ноги его не обессилели. На рассвете он, изнемогший, соскользнул вниз. «Я приму свою судьбу», — сказал.

Теперь он тоже олень, как другие. Так, наверное, и бегает по лесу, цок-цок. Удирает от ягуара, боится змей. Цок-цок. Стережется пумы и стрелы охотника, который по недомыслию или по злобе убивает и ест его братьев.

Когда я встречаю оленя, то всегда вспоминаю историю, которую услышал от серипигари с реки Компирошиато. А вдруг это Тасуринчи, охотник? Как знать. Я, например, не умею отличить, был этот олень прежде идущим человеком или не был. Просто отхожу и смотрю на него. Может, он меня узнаёт, может, смотрит и думает: «Я был как он». Кто знает.

Однажды во время плохого дурмана один мачиканари с радужной реки, Йогьето, обернулся ягуаром. Как он это понял? Вдруг им овладела страшная охота убивать оленей и есть их. «Я ослеп от ярости», — говорил он. И, рыча от голода, бросился в лес выслеживать оленей. Нарвался на одного и убил. Когда он снова превратился в мачиканари, то обнаружил, что в зубах у него застряли волокна мяса, а из-под ногтей идет кровь, так он ими драл добычу. «Киентибакори,

наверное, доволен», — говорил он. Так оно, наверное, и было.

Так, по крайней мере, я узнал.

Как и у оленя, у всякого зверя в лесу, должно быть, своя история. У мелкого, у среднего и у крупного. У того, кто летает, как колибри. У того, кто плавает, как бокичико. У того, кто всегда бегает в стаде, как пекари. Все они были прежде кем-то другим, не тем, кто они сейчас. Со всеми, наверное, случилось что-то, о чем можно рассказать. Вам хотелось бы узнать их истории? Мне тоже. Многие я знаю, слышал от серипигари с реки Компирошиато. Моя бы воля, я бы до сих пор слушал их там, как вы слушаете здесь, сейчас. Но он однажды выгнал меня из своего дома: «Сколько ты еще думаешь тут оставаться, Тасуринчи? — ругал меня. — Ты должен уйти. Ты говоритель, я серипигари, а сам все спрашиваешь, меня заставляешь говорить, обращаешь меня в то, что есть ты сам. Хочешь сделаться серипигари? Тогда тебе придется заново родиться. Пройти все испытания. Очиститься. Пережить много дурманов, и скверных, и добрых, но самое главное, страдать. Достичь мудрости трудно. Ты уже старый, не думаю, что у тебя получится. К тому же, кто знает, твоя ли это судьба? Уходи,

пускайся в путь. Говори, говори. Не искривляй порядок мира, говоритель».

И правда, я все время задавал ему вопросы. Он все знал, и это разжигало мое любопытство. «Почему идущие люди раскрашивают тело ачиоте?» — спросил я как-то раз. «Из-за моритони», — ответил он. «Из-за птички, ты хочешь сказать?» — «Точно, из-за нее». И он заставил меня задуматься. Почему, думаешь, мачигенга избегают убивать моритони? Почему, если увидят ее в траве, стараются не наступить? Почему, когда она показывается на дереве и ты различаешь ее белые лапки, ее черную грудку, то чувствуешь благодарность? Милостью дерева ачиоте и птички моритони мы и идем, Тасуринчи. Без него, без нее идущие люди пропали бы. Вскипели бы, погорели волдырями, полопались пузырями.

Это было прежде.

Моритони была тогда идущим ребенком. Одной из его матерей была Инаэнка. Да-да, вред, который разъедает плоть, был в те времена женщиной. Тот, что сжигает лицо и открывает в нем дыры. Инаэнка. Она, этот вред, была тогда матерью моритони. Выглядела как все остальные женщины, только хромала. Все бесы хромают? Вроде бы да. Говорят, Киентибакори тоже хро-

мой. Инаэнка от своей хромоты злилась, носила длинную-предлинную кушму и никогда не показывала ног. Непросто было распознать ее, понять, что она не женщина, а вред на самом деле.

Тасуринчи ловил рыбу с берега. Вдруг к нему в сеть попался огромный сом. Он очень обрадовался. С такого сома целое корыто жира набежит. И тут он увидел, как прямо перед ним волны бороздит каноэ. В каноэ сидело несколько детей, а управляла им женщина. Серипигари, который вдыхал табак, сидя в хижине Тасуринчи, сразу же догадался об опасности. «Не зови ее, — предостерег он его. — Это Инаэнка, ты разве не видишь?» Но нетерпеливый Тасуринчи уже издал свист, уже поприветствовал женщину. Шесты, которые толкали каноэ вперед, поднялись в воздух. Оно подошло к берегу. Женщина, довольная, соскочила на песок.

«Какого красивого сома ты поймал, Тасуринчи, — сказала она, приближаясь. Она шла медленно, и он не заметил ее хромоты. — Давай отнеси его к себе домой, а я тебе его приготовлю. Для тебя одного».

Тасуринчи, гордый, послушался. Вскинул рыбу на плечо и направился к хижине, не ведая, что встретил свою судьбу. Серипигари смотрел

на него с грустью, потому что знал, что с ним произойдет. За несколько шагов до дома сом соскользнул с плеча Тасуринчи, влекомый невидимым камагарини. Едва сом коснулся земли, с него начала слезать шкура, словно его облили кипящей водой. Тасуринчи был так ошеломлен, что не мог ни позвать серипигари, ни пошевелиться. Его охватил страх, получается. У него стучали зубы, наверное. Страх связывал его, не давал заметить, что с ним самим происходит то же, что с сомом. Только почувствовав бурление и услышав запах горелого мяса, он бросил взгляд на собственное тело: он тоже облезал. Кое-где уже были видны окровавленные внутренности. В ужасе крича, он рухнул на землю. Сучил ногами и плакал, Тасуринчи. И тогда Инаэнка подошла к нему и явила свое настоящее лицо: кипящий водяной волдырь. Хорошенько облила его с ног до головы, веселясь, что Тасуринчи, как и сом, облезает, ошпаривается и умирает от вреда.

Инаэнка заплясала от радости. «Я хозяйка болезни, которая убивает быстро!» — вызывающе кричала она людям. Кричала громко, чтобы весь лес знал. «Я убила их, а теперь, вареных и приправленных ачиоте, я их съем», — говорила. Киентибакори и его бесенята тоже весело пля-

сали, толкались и кусались между собой в лесу. «Эхе, эхе, она Инаэнка», — пели.

Только тогда женщина с лицом как кипящий волдырь заметила серипигари. Он спокойно смотрел на то, что творилось вокруг, не злился, не пугался, вдыхал носом табак. Мирно фыркал, как будто никакой Инаэнки и в помине не было. Инаэнка решила его убить. Подошла и уже собиралась облить горящей водой, но тут серипигари невозмутимо показал ей два белых камня, которые болтались у него на шее.

«Ты ничего не можешь мне сделать, пока на мне эти камни, — напомнил он ей. — Они защищают меня от тебя и от любого вреда в этом мире. Ты разве этого не знаешь?»

«Это верно, — ответила Инаэнка. — Я подожду тут, рядом с тобой, пока ты не уснешь. Тогда я сниму с тебя камни, брошу их в реку и оболью тебя всласть. Нет тебе спасения. Ты облезешь, как сом, и кожа твоя полопается волдырями, как у Тасуринчи».

Так оно, видно, и случилось. Как бы серипигари ни боролся со сном, все же уступил. Ночью, одураченный лживым светом Каширы, запятнанного, уснул. Инаэнка, прихрамывая, подошла к нему. Очень осторожно сняла с него оба камня и

швырнула в реку. И смогла обрызгать его водой из огромного волдыря, своего лица, и с наслаждением стала смотреть, как тело серипигари закипает, набухает бесчисленными волдырями и начинает облезать, лопаться.

«Как же я сейчас попирую!» — пела она, скакала и плясала. Ее дети с каноэ у берега видели, какие несчастья творит Инаэнка. Беспокоились, наверное. Печалились, наверное.

Неподалеку росло деревце ачиоте. Один из сыновей женщины-вреда заметил, что оно протягивает к нему ветки и трясет листьями. Может, что-то хочет сказать? Мальчик подошел к деревцу и укрылся под пламенным дыханием его плодов. «Я Поцотики, — сказало деревце дрожащим голосом. — Инаэнка, твоя мать, покончит с идущим народом, если мы ей не помешаем». «Что же мы можем сделать? — опечалился мальчик. — Такое уж у нее умение, она болезнь, которая убивает быстро». «Если ты поможешь мне спасти идущих людей, у нас получится. Если они исчезнут, солнце упадет. Перестанет согревать мир. Или ты хочешь, чтобы кругом был только мрак и хозяйничали дьяволы Киентибакори?» «Я помогу тебе, — сказал мальчик. — Что я должен делать?»

«Съешь меня, — научило его деревце ачиоте. — У тебя изменится лицо, и твоя мать тебя не узнает. Ты подойдешь к ней и скажешь: „Я знаю место, где несовершенные становятся совершенными, чудовища становятся людьми. Там твои ноги станут как у других женщин“. И отведешь ее туда». И мудро шелестя листьями и ветками, пуская в веселый пляс свои плоды, Поцотики рассказал мальчику, как туда идти.

Инаэнка была занята, она рвала убитых ею на куски, смотрела, как показываются кишки и сердце, и не заметила, какие козни против нее строят. Все куски немедленно пожарила на костре и сдобрила ачиоте, который обожала. К тому времени мальчик съел Поцотики. И стал красным, красным, как глина, красным, как ачиоте. Он подошел к матери, и она его не узнала. «Кто ты такой? — спросила она. — Почему ты не дрожишь? Ты разве не знаешь, кто я?»

«Знаю, конечно, — сказал мальчик-ачиоте. — Я пришел за тобой, потому что знаю место, где ты можешь стать счастливой. Человеку всего-то нужно ступить на тамошнюю землю и выкупаться в тамошних реках, и все кривое исправится. Все утраченные члены снова вырастут. Я отведу тебя туда. Ты перестанешь хромать. Ты будешь

счастлива, Инаэнка. Пойдем, следуй за мной».

Он говорил так уверенно, что Инаэнка, очарованная этим странным красным мальчиком, который ее не боялся и обещал ей то, чего она хотела больше всего на свете — здоровые ноги, — пошла за ним.

Они пустились в бесконечный путь. Пересекали леса, реки, лагуны, теснины, взбирались на холмы и спускались обратно в леса. Не раз их поливал дождь. Над головами их сверкали молнии, и гроза оглушала их громом. Наконец, перейдя дымящуюся топь со свистящими бабочками, они добрались до места. Это была река Оскиахе. К ней стекаются все реки этого мира и других миров. Мешиарени спускается туда со звездного неба, и Камабирия, по водам которой души мертвых плывут в глубокие миры, тоже там протекает. Там было полно чудовищ разного вида и размера, они подзывали Инаэнку хоботами, манили когтями. «Иди сюда, иди, ты одна из нас», — рычали.

«Зачем ты привел меня сюда? — в тревоге пробормотала Инаэнка. Она наконец учуяла обман и разозлилась. — Я ступила на здешнюю землю, и ноги мои остались скрюченными».

«Я привел тебя сюда по совету Поцотики, деревца ачиоте, — признался ей ее сын, — чтобы

ты больше не губила идущий народ. Солнце не должно упасть по твоей вине».

«Ладно, — сказала Инаэнка, смирившись со своей участью. — Их ты, может, и спас. Но тебя я буду преследовать день и ночь. День и ночь, пока не обрызгаю своей огненной водой. Я покрою тебя волдырями. И буду смотреть, как ты сучишь ногами и облезаешь. Буду смеяться над твоими страданиями. Ты от меня не избавишься».

Но он избавился. Правда, чтобы сбежать от Инаэнки, его душе пришлось отказаться от человеческой оболочки. Она вышла из тела и скиталась, скиталась в поисках укрытия, пока не поселилась в этой черной птичке с белыми лапками. Теперь этот мальчик — моритони. Теперь он живет у реки и спит в траве, ему там уютно. Благодаря ему и Поцотики идущие люди спаслись от вреда, который сдирает кожу, сжигает и убивает быстро. Поэтому мы и раскрашиваем тело краской из ачиоте, кажется. Ищем покровительства Поцотики, выходит. Никто не наступает на моритони, если находит ее спящей в траве, — наоборот, старается обойти подальше. Когда моритони прилипает к промасленной палке, которую охотник поставил у водопоя, тот освобождает ее, отогревает и успокаивает своим

дыханием, а женщины баюкают ее между грудями, пока она не в силах будет улететь. Видно, в благодарность за помощь.

Ничто не происходит просто так, само по себе, говорил Тасуринчи, серипигари с Компирошиато. У всего есть объяснение, все — причина или следствие. Может, так оно и есть. В мире больше божков и бесенят, чем капель воды в самой обширной лагуне или реке, говорил он. Они перемешаны с вещами. Дети Киентибакори должны вносить в мир беспорядок, а дети Тасуринчи — сохранять порядок. Тот, кто знает причины и следствия, обладает мудростью, наверное. «Я ее еще не достиг, — говорил серипигари, — хотя кое-какая мудрость у меня есть и я умею делать то, что остальные не умеют». — «Что ты умеешь, Тасуринчи?» — «Летать, говорить с душой мертвого, бывать в нижних и верхних мирах, проникать в тело живого, угадывать будущее и понимать язык некоторых зверей. Это много. Но куда больше есть такого, что я не умею».

Так, по крайней мере, я узнал.

Он правильно про меня догадался: если бы я не был говорителем, мне хотелось бы стать серипигари. Мудро управлять дурманами, чтобы они всегда получались добрыми. Однажды на реке

тапира, на Кимариато, у меня случился плохой дурман, и в нем я пережил историю, которую хотел бы забыть. Но я всегда о ней помню.

История вот какая.

Это было после, на реке тапира.

Я был человеком. У меня была семья. Я спал. И вдруг проснулся. Только открыл глаза, как понял: ох, Тасуринчи! Я превратился в насекомое. В цикаду-мачакуя, наверное. Стал Тасуринчи-Грегор. Я лежал на спине. Мир вокруг меня увеличился. Я все понимал. Эти волосатые кольчатые ножки были моими ногами. Эти прозрачные, цвета глины, крылышки, которые скрипели и очень болели при каждом движении, раньше, наверное, были моими руками. Эта вонь вокруг меня — это что, мой запах? Мир я видел по-другому: одновременно верх и низ, перед и зад. Потому что теперь, когда я стал насекомым, у меня было много глаз. Что же с тобой случилось, Тасуринчи-Грегор? Злой колдун изменил тебя, съев прядь твоих волос? Бесенок камагарини забрался тебе в задницу и сделал тебя таким? Мне стало очень стыдно, пока я себя оглядывал. Что скажет моя семья? Потому что у меня была семья, как у всех идущих людей, кажется. Что они подумают, когда увидят, что я стал отвратительной тварью?

Цикаду-мачакуя ведь давят, и дело с концом. Разве она годится в пищу? Годится, чтобы лечить вред? Даже для грязных отваров мачиканари она, наверное, не годится.

Но мои родичи ничего не говорили. Ходили туда-сюда, по хижине, до реки, делали вид, что не замечают, какое со мной случилось несчастье. «Как его подменили!» — говорили, но ко мне не обращались. Кто знает. А я тем временем все видел. Мир выглядел довольным, как и прежде. Я видел, как дети поднимают камни, под которыми прячутся муравейники, и радостно, толкаясь, съедают сладких хрустящих муравьев. Как мужчины идут полоть маниоковые грядки или раскрашиваются ачиоте и уито перед охотой. Как женщины режут маниок, жуют, выплевывают, раскладывают в корытах для масато, как чешут хлопок, чтобы ткать кушмы. Вечером старики добывали огонь. Я видел, как они режут лианы, делают дырочку на конце самой маленькой, кладут на землю, держат ногами, вставляют в дырочку другую лиану и терпеливо трут и крутят, пока наконец не пойдет дымок. Видел, как они собирают тлеющие крошки лианы в банановый лист, оборачивают его в хлопок и трясут, чтобы разгорелся. Потом они раскладывали костры, и

вокруг костров ложились спать семьи. Мужчины и женщины входили и выходили, продолжали жить своей жизнью, довольные, наверное. Ничего не говорили про то, как я изменился, не выказывали ни гнева, ни удивления. Кто спрашивал про говорителя? Никто. Кто-нибудь приносил серипигари мешок маниока и мешок маиса и говорил: «Сделай его обратно идущим человеком»? Никто. Многие хлопотали вокруг по своим делам. Старались не смотреть в тот угол, где я лежал. Ох, бедный Тасуринчи-Грегор! Я отчаянно шевелил крыльями и ножками. Старался перевернуться, силился подняться, ох, ох!

Как попросить помощи, если не говоришь? Я не знал. Это, кажется, было хуже всего. Я, наверное, страдал, зная, что никто не придет и не поставит меня как следует. Я больше никогда не буду ходить? Я вспоминал черепах. Как я ловил их на бережке, куда они выходят откладывать яйца. Как переворачивал их за панцирь. А теперь я сам, как они, сучил ногами в воздухе и не мог подняться. Я был цикадой-мачакуем, но чувствовал себя черепахой. Как и они, я скоро оголодаю, изнемогу от жажды, а потом моя душа уйдет. Душа цикады-мачакуя возвращается? Может, и возвращается.

И вдруг я заметил. Меня заперли. Кто это сделал? Мои родичи, кто же еще. Закрыли хижину, заделали все щели, через которые я мог бы выбраться. Как девочку с первой кровью держали меня. Но кто придет искупать Тасуринчи-Грегора? Кто выведет его обратно в жизнь чистого, омытого? Никто, должно быть, не придет. Почему они так со мной поступили? От стыда, наверное. Чтобы ни один гость меня не увидел, чтобы ему не стало противно и он не посмеялся над ними. Неужели мои родичи вырвали у меня прядь волос и отнесли мачиканари, чтобы тот превратил меня в Тасуринчи-Грегора? Нет, скорее, это виноват какой-нибудь бесенок или, может, Киентибакори. Наверное, я и сам в чем-то был виноват, если на меня свалился такой вред, да еще и заперли меня, будто врага. Почему они вместо этого не привели серипигари, который вернул бы мне мою оболочку? Может, они и сходили к серипигари, может, и заперли тебя по его совету, чтобы ты не навредил себе, выйдя на улицу.

Эта надежда меня поддерживала. Не сдавайся, Тасуринчи-Грегор, пока еще рано, в грозовом небе еще есть лучик солнца. И я старался перевернуться. Ножки у меня болели, так сильно я ими размахивал, а крылья трещали от моих

усилий, будто разрывались пополам. Кто знает, сколько времени прошло. И вдруг у меня получилось. Давай, Тасуринчи-Грегор! Может, я сильнее раскачался, может, дальше вытянул ногу. Не знаю. Только тело мое сжалось, завалилось на бок, повернулось, и вот я уже почувствовал под собой что-то твердое. Крепкое, надежное. Это был пол хижины. Я закрыл глаза, пьяный от радости. Но радость тут же исчезла. Что это за страшная боль в спине? Как будто обожгли. Когда я резко подскочил или раньше, когда пытался подняться, я порвал себе правое крыло о щепку. Оно теперь висело и волочилось за спиной. Мое крыло, наверное. И еще меня начал одолевать голод. Мне было страшно. Мир стал незнакомым. Опасным, должно быть. То и дело меня могли раздавить. Расплющить. Могли меня съесть. Ох, Тасуринчи-Грегор! Ящерицы! Я дрожал, дрожал. Я ведь видел раньше, как они едят тараканов, жуков, всех насекомых, которые им попадаются. Сломанное крыло болело все сильнее и сильнее, я почти не мог двигаться. И голод по-прежнему терзал меня изнутри своим шипом. Я попробовал проглотить сухую солому, которой законопатили перегородку, но она только оцарапала мне рот и не размякла, пришлось выплюнуть. Стал рас-

капывать то тут, то там сырую землю и наконец наткнулся на гнездо совсем маленьких личинок. Они ворочались, хотели удрать. Это были личинки поко, древесного червя. Я медленно ел их, зажмуриваясь от счастья. Чувствовал, как в мое тело возвращаются остатки души, которые совсем было хотели уйти. Да, я чувствовал себя счастливым.

Не успел я доесть личинок, как вдруг до меня долетел какой-то чужой запах, и я подпрыгнул, желая улететь. Я слышал поблизости чье-то тяжелое дыхание. Его жар бил мне в нос. Оно пахло опасностью, наверное. Ящерица! Заглянула внутрь. Вон ее треугольная морда, просунулась между гнилыми перегородками. Вон ее мутные глаза, смотрят на меня. Горят от голода. Несмотря на боль, я махал крыльями, не мог подняться в воздух, но пытался, пытался. Только неуклюже подпрыгивал, похоже. Терял равновесие, хромал. Боль в ране становилась все сильнее. Вот она, крадется. Извернувшись, как змея, бочком, бочком, протащила свое тело через перегородки, попала внутрь. Вот она, ящерица. Стала тихонько подбираться, не сводя с меня взгляда. Ух и большая! Вдруг поднялась на задние лапы и побежала ко мне быстро-быстро. Открыла пасть. Я увидел два

ряда кривых белых зубов, и ее дыхание ослепило меня. Почувствовал укус, почувствовал, как она вырывает у меня сломанное крыло. Мне было так страшно, что я не чувствовал боли. Я уходил, как в дурмане, как во сне. И видел ее зеленую потертую кожу. Видел, как ходуном ходило ее брюхо, переваривая пищу. Как она прикрывает глазищи, проглатывая кусок меня. И тогда, наверное, я смирился со своей судьбой. Скорее всего. Опечалился, наверное. Ждал, пока она меня доест. А потом, когда она наелась, я увидел из ее нутра, из ее души, через ее выпученные глаза, где все было зеленое, что моя семья возвращается.

Они брезгливо, как раньше, вошли в хижину. «Его больше нет! Куда он мог деться?» — говорили. Сунулись в угол к цикаде-мачакую, смотрели, искали. Пусто! Вздохнули с облегчением, будто спаслись от опасности. Улыбались, довольные, наверное. «Вот от какого позора мы избавились», — думали, должно быть. Теперь им ничего не нужно было прятать от гостей. Теперь они могли дальше жить своей жизнью, наверное.

Так закончилась история Тасуринчи-Грегора, там, у Камариато, реки тапира.

Я спросил у Тасуринчи, серипигари, что означает то, что мне пришлось пережить во время

этого скверного дурмана. Он долго размышлял, а потом сделал жест, как будто отогнал кого-то невидимого. «Да, скверный был дурман, — признал он задумчиво. — Тасуринчи-Грегор! Надо же. Это точно плохо. Превратить человека в цикаду-мачакуя может, наверное, камагарини. Точно сказать не могу. Если только подняться через центральный шест в хижине и спросить у саанкарите в облачном мире. Он, может, и знает. Лучше тебе про это забыть. Не говори больше про это. То, что вспоминается, живет и может произойти снова». Но я не смог забыть и везде про это рассказываю.

Я не всегда был таким, каким вы меня видите. Я не про лицо. Это пятно цвета лилового маиса у меня с рождения. Не смейтесь, я вам правду говорю. Я с ним родился. Тут правда не над чем смеяться. Я знаю, что вы мне не верите. Я знаю, что вы сейчас думаете. «Если бы ты таким родился, Тасуринчи, твои матери бросили бы тебя в реку. Если ты здесь, если ты идешь, значит, ты родился чистым. И только потом кто-то или что-то сделало тебя таким, какой ты сейчас». Так вы думаете? Вот видите, я угадал, хоть я и не колдун, и ни дым мне не нужен, ни дурман.

Я много раз спрашивал у серипигари: «Что

значит, когда у человека такое лицо, как мое?» Ни один саанкарите, кажется, не смог объяснить. Почему Тасуринчи выдул меня таким? Спокойно, спокойно, не сердитесь. Чего вы кричите? Ну ладно, не Тасуринчи. Киентибакори тогда? Нет? Хорошо, и не он тоже. Разве серипигари не говорит, что у всего есть причина? Я пока не нашел, в чем причина моего лица. У некоторых вещей, должно быть, нет причины. Они просто случаются, и все. Вы не согласны, я знаю. Догадываюсь об этом по вашим глазам. Да, тоже верно: если ты не знаешь причины, это еще не значит, что ее нет.

Раньше меня очень беспокоило это пятно. Я об этом не говорил. Только с самим собой, со своими душами. Держал в тайне, и тайна эта сжирала меня изнутри. Потихоньку разъедала. Я жил в печали, кажется. А теперь не беспокоит. По крайней мере, я так думаю. Это, наверное, благодаря вам. Так оно и есть, видно. Потому что я заметил, что людей, к которым я прихожу, с которыми говорю, оно тоже не беспокоит. В первый раз я спросил об этом много лун назад у одной семьи, у которой жил на реке Коширени. «Вас беспокоит мой вид? Беспокоит, что я такой, какой есть?» — «Что люди делают и чего не делают — вот что нас беспокоит», — пояснил мне Тасуринчи, самый старый.

Сказал: «Беспокоит, идут ли люди, чтут ли собственную судьбу. Не прикасается ли охотник к своей добыче, а рыбак — к улову. Соблюдение запретов, получается. Беспокоит, способны ли они идти, чтобы солнце не упало. Чтобы мир был в порядке, получается. Чтобы не вернулись мрак и вред. Вот что нас беспокоит. А пятна на лице — нет, наверное». Это и есть мудрость, говорят.

Но я хотел сказать другое: раньше я не был тем, кто я есть сейчас. Я стал говорителем после того, как побыл тем, кто сейчас есть вы. Вы слушатели. Вот и я был слушателем. Это вышло не нарочно. Само по себе, мало-помалу. Сам того не замечая, я постепенно понял свою судьбу. Медленно, спокойно. Кусочек за кусочком она мне явилась. Не от табачного сока, не от отвара аяуаски. Не с помощью серипигари. Я сам ее открыл.

Я ходил везде, искал идущих людей. Ты здесь? Эхе, я здесь. Я селился у них, помогал пропалывать маниоковые грядки, ставить силки. Едва я узнавал, что на такой-то реке, у такого-то ручья живет семья идущих людей, я сразу шел к ним в гости. Даже если дорога была долгая-предолгая и приходилось переходить Большую Теснину, все равно шел. Добирался наконец. Вот они. Ты пришел? Эхе, я пришел. Некоторые меня уже

знали, с некоторыми мы только знакомились. Они приглашали меня в дом, кормили, поили. Циновку мне одалживали на ночлег. Много лун я с ними оставался. Чувствовал себя членом семьи. «Зачем ты сюда пришел?» — спрашивали они. «Научиться, как готовят табак, когда хотят вдыхать его через нос», — отвечал я. «Узнать, как склеивать смолой косточки пукакунги, чтобы через них вдыхать табак через рот», — говорил. Они позволяли мне слушать, что они рассказывали, позволяли учиться тому, кем они были. Я хотел узнать их жизнь, получается. Услышать о ней от них самих. Какие они, что делают, откуда пришли, как рождаются, как уходят, как возвращаются. Идущие люди. «Хорошо, — говорили они. — Тогда пойдем».

Я готов был вечно их слушать. Запоминал все, что они говорили. Про этот мир и про другие. Про прежде и про после. Запоминал объяснения и причины. Сначала серипигари мне не доверяли. Потом стали доверять. И тоже позволяли их слушать. Истории про Тасуринчи. Подлости Киентибакори. Тайны дождя, молнии, радуги, цвета и линий, которые мужчины рисуют себе перед выходом на охоту. Ничего из того, что я слышал, я не забывал. Иногда я приходил к семье

и рассказывал им, что видел, чему научился. Не все ведь всё знали, да и даже если знали, любили послушать снова. Я тоже любил. В первый раз, когда я услышал историю Моренанчииите, владыки грома, она меня поразила. Я всех о ней расспрашивал. Просил, чтобы рассказали еще и еще. У владыки грома есть лук? Да, есть. Но пускает он не стрелы, а раскаты грома. Его всегда окружают ягуары? Да. И еще с ним ходят две пумы, кажется. И он бородатый, хоть и не виракоча? Да, бородатый. Я повторял историю Моренанчииите, куда бы ни пришел. Они меня слушали и, наверное, радовались. «Расскажи-ка еще раз с самого начала, — говорили. — Расскажи, расскажи». Мало-помалу, незаметно для меня самого я начал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.

Однажды я пришел в гости к семье, и кто-то сказал у меня за спиной: «Говоритель пришел. Пойдем послушаем». Я услышал и очень удивился. «Это вы обо мне?» — спросил я у них. Все покачали головами в знак согласия: «Эхе, эхе, о тебе». Получается, я был говоритель. Я исполнился изумления. Окаменел. Сердце мое стало как барабан. Стучало в груди: бом, бом. Неужели я встретился со своей судьбой? Возможно. Наверное, так оно и было в тот раз. На ручье, что отходит

от реки Тимпия, там тогда жили мачигенга. Теперь уже никого не осталось. Но всякий раз, как я прохожу мимо этого ручья, мое сердце пускается в пляс. «Здесь я родился во второй раз», — думаю. «Здесь я вернулся, не уходя», — говорю. Так я начал быть тем, кто я есть. Это лучшее, что со мной случилось, наверное. Лучше никогда не будет, думаю. С тех пор я говорю. Иду. И так дальше и буду продолжать, пока не уйду, кажется. Потому что я говоритель.

Так, по крайней мере, я узнал.

Такое лицо, как у меня, — вред? Если рождаешься с лишними пальцами или не хватает пальцев — это вред? Несчастье — быть похожим на чудовище, если ты не чудовище? Видно, это вред и несчастье разом. Наверное. Походить на одного из тех скрюченных, опухших, горбатых, изъязвленных, клыкастых и когтистых, что выдул Киентибакори в день творения на Большой Теснине. Походить на демона, на бесенка, когда ты просто человек, выдутый Тасуринчи, — это вред и несчастье. Наверное, так оно и есть.

Когда я начинал идти, то услышал, что одна женщина утопила в реке новорожденную дочь, потому что у той не было ноги, или носа, или были пятна, или вместо одного ребенка роди-

лось двое. Я не понимал, кажется. «Зачем ты это делаешь? Зачем ты ее убила?» — «Она была несовершенна. Ей нужно было уйти». Я не понимал. «Тасуринчи выдул только совершенных женщин и мужчин, — объясняли мне. — Чудовищ выдул Киентибакори». Наверное, я никогда полностью не пойму. Должно быть, мне это трудно из-за того, какой я есть, какое у меня лицо. Когда я слышу: «Я выбросила ее в реку, потому что она родилась бесенком, я убила его, потому что он демон», — я так и не понимаю. Что вы смеетесь?

Если несовершенные люди — нечистые, дети Киентибакори, почему тогда есть хромые, слепые, с отметинами на коже, с усохшими руками? Как так получается, что они идут? Почему их не убили? Почему не убивают меня, с моим-то лицом? Спрашивал я у них. Они вот тоже смеялись: «Как же им быть детьми Киентибакори? Как им быть демонами или чудовищами? Разве они такими родились? Они были чистыми, они родились совершенными. А такими стали уже потом. Это их вина, наверное, или камагарини, или другого демона Киентибакори. Кто знает, почему их так изменили. От чудовищ у них только оболочка, а внутри они всегда будут чисты».

Вы можете мне не верить, но меня таким

сделали не бесенята Киентибакори. Я родился чудовищем. Моя мать не выбросила меня в реку, оставила жить. То, что раньше казалось мне жестокостью, теперь кажется удачей. Каждый раз, когда я прихожу к семье, с которой мы еще не знакомы, я думаю, что они испугаются. «Он чудовище, он бесенок», — скажут при виде меня. Опять вы смеетесь. И все смеются, когда я их спрашиваю: «Я что, демон? Это лицо что-нибудь значит?» — «Нет, нет, ты не демон. И не чудовище. Ты Тасуринчи, ты говоритель». Я от этого чувствую себя спокойным. Довольным, наверное.

Души детей, которых матери топят в реках и лагунах, спускаются в глубину Большой Теснины. Так говорят. Туда, на самое дно. Под водовороты, под грязные водопады, в пещеры, полные крабов. Там, среди огромных скал, они, наверное, глохнут от шума и страдают. Там души этих детей встречаются с чудовищами, которых Киентибакори выдул, когда сражался с Тасуринчи. Это было начало, кажется. До этого мир, в котором мы идем, был пуст, наверное. Тот, кто тонет в Большой Теснине, возвращается? Он идет ко дну, погружается в грохот потока, водоворот захватывает его душу, кружит, кружит и тянет вниз. На темное илистое дно, должно быть, где живут чудовища.

Там она садится подле душ других утопленных детей. И слушает, как демоны и чудовища, сетуя, вспоминают тот день, когда Тасуринчи начал дуть. День, когда появилось столько мачигенга.

Это история творения.

Это битва Тасуринчи и Киентибакори.

Это было прежде.

И случилось это там, на Большой Теснине. Там началось начало. Тасуринчи, кое-что задумав, спустился из Инките по реке Мешиарени. Наверное, он набрал воздуха и стал дуть. И начали появляться хорошие земли, реки, полные рыб, изобильные леса, где было много съедобных зверей. Солнце неподвижно стояло в небе и согревало мир. Смотрело, довольное, на все, что появлялось. Киентибакори от этого страшно взбесился. Он, должно быть, лопался со злости, видя, что происходит наверху. Тасуринчи все дул, и в мире начали появляться мачигенга. Тогда Киентибакори покинул край черных вод и туч, Гамаирони, и поднялся по реке из мочи и дерьма. Он исходил злобой, аж дымился от гнева. «Я сделаю лучше», — говорил. Едва добравшись до Большой Теснины, он принялся дуть. Но из его дуновений не получались мачигенга. А получались гнилые земли, где ничего не росло,

заболоченные лагуны, где так смердит, что жить там могут только летучие мыши-вампиры. Змеи получались. Гадюки, крокодилы, мыши, летучие и обычные, комары. Муравьи, грифы. Все растения, от которых зуд, которые обжигают кожу, все несъедобные растения. Только такие. Киентибакори все дул, и вместо мачигенга появлялись камагарини, бесенята с кривыми когтистыми лапами, со шпорами. Появлялись безобразные дьяволицы, они жрали землю и мох. И четвероногие люди, ачапоро, косматые и кровожадные. Киентибакори злился. Он был в такой ярости, что существа, которых он выдувал, получались нечистыми и подлыми, сплошной вред и гады. Когда они закончили дуть и вернулись к себе — Тасуринчи в Инките, Киентибакори в Гамаирони, — мир уже был таким, как сейчас.

Так началось после, кажется.

Так мы начали идти. На Большой Теснине. И с тех пор идем, получается. Сопротивляемся вреду, страдаем от жестокостей демонов и бесенят Киентибакори. Большая Теснина раньше была запретным местом. Туда попадали только мертвые, души, что уходят и не возвращаются. А сейчас многие туда ходят, виракочи и пунаруна. И мачигенга тоже. Со страхом и почтением,

должно быть. Они, наверное, думают: что это за грохот? Просто вода разбивается о скалы? Просто река сужается меж каменных стен? Кажется, нет. Этот шум идет и снизу тоже. Это, должно быть, стоны и плач утопленных детей. Он поднимается из пещер на дне. Его слышно лунными ночами. Они стонут в печали. Чудовища Киентибакори, наверное, их обижают. Мучают и так берут плату за то, что эти дети там. Не считают их нечистыми, а считают обычными мачигенга, наверное.

Так, по крайней мере, я узнал.

Один серипигари сказал мне: «Не худший вред — родиться с таким лицом, как у тебя. Худший вред — не знать своего долга». Не совпадать с собственной судьбой, получается? Так со мной происходило раньше, до того как я стал кем стал. Я был просто оболочкой, кожурой, телом, чья душа улетела через макушку. Для семьи или для народа худший вред такой же: не знать своего долга. Тогда это семья-чудовище, народ-чудовище, у которого лишние руки-ноги или не хватает рук-ног. Мы идем, солнце над нами. Наверное, это наш долг. Мы его выполняем вроде бы. Почему мы выживаем после вреда, который насылают на нас все эти демоны и бесенята? Видно, поэтому. И мы здесь, видно, поэтому. Я говорю, вы слушаете.

Кто знает.

Идущий народ теперь мой. Раньше я шел с другим народом и думал, что тот — мой. Я тогда еще не родился. По-настоящему я родился, когда пошел с мачигенга. Тот другой народ остался позади. У него тоже была своя история. Он был маленький и жил очень далеко, в месте, которое раньше принадлежало ему, а потом перешло к другим. Место это заняли хитрые и сильные виракочи. Как во времена, когда деревьям пускали кровь? Точно. Несмотря на присутствие врага в их лесах, они занимались своей жизнью: охотились на тапира, сажали маниок, готовили масато, плясали, пели. Их выдул могучий дух. У него не было ни тела, ни лица. Его звали Тасуринчи-Яхве. Он их защищал вроде бы. Научил, что они должны делать, и запретам тоже научил. Они знали свой долг. Жили спокойно. Довольные жили, не злились, наверное.

Но однажды, на каком-то затерянном ручье, родился мальчик. Он был не такой, как все. Серигоромпи? Да, возможно. Он начал говорить: «Я дуновение Тасуринчи, я сын Тасуринчи, я Тасуринчи. Я — и то, и другое, и третье разом». Вот что он говорил. И что спустился из Инките в этот мир, посланный отцом, то есть им самим,

чтобы изменить обычаи людей, потому что люди испортились и больше не умели идти. Они, должно быть, слушали его и удивлялись. «Он, наверное, говоритель», — говорили. «Он, наверное, просто истории рассказывает», — говорили. Он ходил повсюду, как я. Ходил и говорил, говорил и ходил. Запутывал и распутывал, давал советы. У него была другая мудрость, кажется. Он хотел навязать новые обычаи, потому что тогдашние были, по его словам, нечистыми. Сплошной вред. Приносили несчастье. И всем он повторял: «Я Тасуринчи». Значит, его нужно было слушаться, его нужно было уважать. Только его, никого больше. Остальные были не боги, а демоны и бесенята, выдутые Киентибакори.

Говорят, он умел убеждать. Очень могущественный серипигари. У него и колдовство было свое. Или он был мачиканари, злой колдун? Или все же добрый, серипигари? Кто знает. Он мог превратить совсем немного маниока и немногих сомов в очень много, в столько маниока и рыбы, чтобы всем хватило. Одноруким он возвращал руки, слепым — глаза, и даже души, что уже ушли, возвращал в тело. Некоторые люди так поражались, что начали за ним ходить и его слушаться. Они отказывались от обычаев, нарушали старые

запреты. Стали совсем другими, наверное.

Серипигари очень встревожились. Собрались в дом к самому старому, пришли из далеких мест. Сели в круг на циновках, выпили масато. «Наш народ исчезнет», — говорили. Рассеется, как облако, наверное. Станет ветром. «Что будет отличать нас от других?» — в страхе думали они. Неужели они станут как машко? Станут как ашанинка или яминава? Никто тогда не будет знать, кто есть кто, ни они сами, ни другие. «Разве мы не то, во что мы верим? Не полосы, которые на себе рисуем? Не способ, которым ставим силки?» — спорили они. Если они послушаются этого говорителя и все начнут делать наоборот, по-другому, не упадет ли солнце? Что будет держать их вместе, если они станут такими же, как остальные? Ничто, никто. Повсюду будет путаница. И тогда серипигари осудили его за то, что он пришел затуманить ясность мира. «Он самозванец, — сказали, — лжец. Он, должно быть, мачиканари».

Виракочи, которые там заправляли, тоже беспокоились. Было много беспорядка, люди волновались и сомневались из-за речей этого говорителя. «Правда это или ложь? Нужно ли его слушаться?» И крепко задумывались над тем, что он говорил. Тогда те, кто там заправлял, убили

его, думая, что так они от него избавятся. По своему обычаю виракочи высекли его и надели на него корону из шипов чамбиры, как на любого, кто совершал зло, крал или нарушал запрет. Потом на двух перекрещенных бревнах подвесили его, как вешают арапайму, чтобы обтекала, и оставили висеть, пока он не истек кровью. Они ошиблись. Потому что говоритель этот ушел и сразу же вернулся. И стал мутить этот мир еще сильнее, чем до возвращения. Тогда люди начали говорить друг другу: «Так это была правда. Он сын Тасуринчи, он, наверное, дуновение Тасуринчи, он сам Тасуринчи. И то, и другое, и третье разом, получается. Он пришел. Ушел, а потом пришел обратно». И начали делать, как он учил, и соблюдать его запреты.

С тех пор, как этот серипигари или бог умер, если умер, ужасные несчастья стали случаться с народом, в котором он родился. С народом, выдутым Тасуринчи-Яхве. Виракочи выгнали его из леса, где он жил. Прочь, прочь! Как и мачигенга, этот народ вынужден был пуститься в путь. Реки, лагуны и ручьи этого мира видели, как он приходит и уходит. Он никогда не знал, получится ли осесть на новом месте, и потому тоже привык жить на ходу. Жизнь стала опасной, как будто

в любой миг мог напасть ягуар или прилететь стрела машко. Они, наверное, жили в страхе, ожидая вреда. Ждали порчи мачиканари. Жили, сетуя на свою судьбу, должно быть.

Отовсюду, где они разбивали лагерь, их выгоняли. Они строили хижины, и тут же являлись виракочи. Пунаруна, яминава являлись, обвиняли их. Во всех подлостях и несчастьях обвиняли. Даже что они убили Тасуринчи. «Он стал человеком, пришел в этот мир, а вы его предали», — говорили им и побивали их камнями. Если где-нибудь проходила Инаэнка и обрызгивала людей кипящей водой, и люди облезали и умирали, то никто не говорил: «Это напасть от кипящего волдыря, это чихи и пердеж Инаэнки». А говорили: «Это виноваты проклятые чужаки, которые убили Тасуринчи. Теперь они наслали на нас порчу, чтобы угодить своему хозяину, Киентибакори». Везде расходился этот слух: мол, они помогают бесенятам, пляшут с ними и пьют масато, наверное. И люди шли в хижины к тем, кого выдул Тасуринчи-Яхве. Били, все отбирали, пускали стрелы, сжигали заживо. «Когда придут нас убивать? — думали они. — Кто будет убивать нас на сей раз? Виракочи? Машко?» Никуда их не пускали. Когда они приходили к кому-то и

спрашивали хозяина дома: «Ты здесь?», ответ был всегда один: «Нет, меня нет». Так же, как идущему народу, им пришлось разделиться на семьи, чтобы их принимали. Если их было мало, если они вели себя тихо, другие народы оставляли им место сеять, охотиться и рыбачить. Иногда им говорили: «Можешь остаться, но сеять тебе нельзя. Или охотиться нельзя. Такой тут обычай». Так они жили там сколько-то лун, много лун, наверное. Но заканчивалось всегда плохо. Если часто шли дожди, если была засуха, если случалось какое-то бедствие, их начинали ненавидеть. «Это вы виноваты, — говорили им. — Прочь!» Их снова выгоняли, и, казалось, они исчезнут.

Эта история повторялась очень много где. Всегда одна и та же, как серипигари, который не может вернуться из скверного дурмана и мельтешит как попало в облаках. Но, несмотря на все несчастья, этот народ не исчез. Несмотря на свои страдания, выжил. Это был не воинственный народ, он никогда не выигрывал войны, но не погиб. Жил в рассеянии, семьи обретались в разных лесах мира, но остался жив. Более многочисленные народы, воинственные, сильные, машко, виракочи, народы, где было много мудрых серипигари, народы, казавшиеся непобедимыми, уходили.

Исчезали, получается. Ни следа не оставалось от них в мире, никто их не помнил. А они по-прежнему были. Странствовали, шли, жили, бежали. Живые, идущие, получается. Во все времена, по всему миру.

Это, наверное, потому, что несмотря на все, что с ним случилось, народ Тасуринчи-Яхве никогда не отдалялся от собственной судьбы. Всегда выполнял свой долг, наверное. И всегда соблюдал запреты. Может, его ненавидели за то, что он не был похож на остальных? Поэтому его не принимали те народы, к которым он приходил? Кто знает. Люди не любят жить с теми, кто не такой, как они. Не доверяют, наверное. Другие обычаи, другая речь их пугают, как будто мир вдруг становится непонятным, темным. Люди хотели бы, чтобы все были одинаковые, чтобы остальные забыли про свои обычаи, убили своих серипигари, ослушались своих запретов и переняли у них. Если бы народ Тасуринчи-Яхве поступил так, он бы исчез. От него не осталось бы даже говорителя, который рассказал бы его историю. И я, может быть, не стоял бы здесь и не говорил.

«Хорошо, когда идущий человек идет», — говорит серипигари. Я думаю, это мудрость. Наверное, хорошо. Когда человек — тот, кто он есть. Разве

мы, мачигенга, не такие, какими мы были давным-давно? Мы такие как в тот день, на Большой Теснине, когда Тасуринчи начал дуть. Поэтому мы не исчезли, выходит. Поэтому мы по-прежнему идем, наверное.

Я научился этому у вас. До рождения я думал: «Народ должен меняться, должен перенимать обычаи, запреты, колдовство у сильных народов. Перенимать богов и божков, демонов и бесенят у мудрых народов. И так все станут чище», — думал я. И счастливее. Это было неправильно. Теперь я знаю, что это было неправильно. Я научился этому у вас, да. Кто может стать чище и счастливее, если отвергнет свою судьбу, а? Никто. Лучше будем теми, кто мы есть. Тот, кто перестанет выполнять свой долг, чтобы выполнять чужой, лишится души. А может, и оболочки, как Тасуринчи-Грегор, который превратился в цикаду-мачакуя во время скверного дурмана. Наверное, когда человек теряет душу, самые отвратительные существа, самые вредные гады устраивают себе берлогу в его пустом теле. Муху съедает шмель, шмеля — птичка, птичку — змея. Хотим мы, чтобы нас съели? Нет. Хотим исчезнуть, не оставив следа? Тоже нет. Если мы закончимся, мир тоже закончится. Лучше идти,

кажется. Поддерживать солнце в небе, реку в русле, дерево на корне, лес на земле, получается.

Так, по крайней мере, я узнал.

У Тасуринчи все хорошо. Он идет. Я шел навестить его на реке Тимпия и встретил на тропе. Он с двумя сыновьями возвращался от Белых Отцов, тех, что живут на берегах Сепауа. Отнес им свой урожай маиса. Он уже давно так делает, рассказал он мне. Белые Отцы дают ему семена, мачете, чтобы рубить лес, лопаты, чтобы ворочать землю и сажать картошку, батат, маис, табак, кофе и хлопок. Потом он продает им то, что ему самому не нужно, и покупает всякое. Он показал мне, что у него есть: одежду, еду, масляную лампу, крючки, нож. «Может, в следующий раз и ружье купить смогу», — сказал. На всех зверей тогда будет охотиться. Но Тасуринчи не был доволен. Скорее, обеспокоен: лоб у него был наморщен, а глаза жесткие. «Здесь, на Тимпии, только дважды можно сеять на одном месте, не больше, — жаловался. — А кое-где всего по разу. Плохая земля, видно. Последний урожай маниока и картошки совсем был маленький». Земля там быстро устает, кажется. «Она хочет, чтобы я оставил ее в покое», — говорил Тасуринчи. Горько сетовал. «Ленивые тут земли, на этой Тимпии, — говорил

мне. — Только заставишь их работать, а они уже устали. Вот какие».

Беседуя об этом и о другом, мы дошли до его дома. Нас встретила его жена, очень взволнованная. Она раскрасила лицо, как при трауре, и, размахивая руками, сказала нам, что река ее обокрала. Уворовала одну из трех ее куриц, кажется. Она держала ее на руках, чтобы согреть, потому что курица вроде заболела, а сама пока набирала воду из реки. И вдруг все кругом затряслось. Земля, лес, дом, все затряслось. «Как от вреда, — говорила она. — Будто плясало». От испуга она выпустила курицу, а поток тут же унес ее и сожрал, не дав жене Тасуринчи времени опомниться. На этом притоке Тимпии течение и вправду очень сильное. Даже у самых берегов бурлит.

Тасуринчи принялся в ярости бить ее. «Я бью тебя не за то, что ты упустила курицу, такое со всяким может случиться, — говорил, — а за то, что врешь. Зачем выдумываешь, что земля тряслась, вместо того, чтобы сказать, что ты заснула? И она у тебя выпала их рук, так ведь было? Или, наверное, оставила ее ходить по берегу, она и скатилась. Или сама ее швырнула в реку, потому что тебя злость взяла. Не говори того, чего не было. Вот ты, говоритель, скажи: разве ложь не

вредит семьям? Да кто тебе поверит, что земля заплясала? Я бы тогда тоже почувствовал!»

И пока Тасуринчи злился, ругал ее и бил, земля задрожала. Не смейтесь. Это не выдумка, это мне не приснилось. На самом деле так случилось. Земля заплясала. Сначала мы услышали глухой гул, как будто владыка грома там, внизу, ходит мимо своих ягуаров, и те порыкивают. А потом рокот войны, множество барабанов забило в самом нутре земли. Далекий грохот, страшный. И тут мы почувствовали, что мир уже не в покое. Земля двигалась, плясала, прыгала, как будто напилась. Двигались деревья и дом Тасуринчи, речные воды пенились и бурлили, как маниок, который варят в корыте. В воздухе была злоба, наверное. Небо наполнилось всполошенными птицами, попугайчики кричали на деревьях, из леса доносились рык, свист, крик зверей в смятении. «Опять, опять!» — кричала жена Тасуринчи. А мы только оглядывались по сторонам и не понимали, бежать нам или стоять на месте. Дети Тасуринчи уцепились за него, заплакали. Он сам испугался, и я тоже. «Может, мир кончается? — говорил. — Может, снова наступает тьма, хаос?»

Когда земля перестала дрожать, почернело небо, как будто солнце начало падать. Быстро,

очень быстро сделалось темно. Повсюду поднялась большая пыль, и покрыла этот мир серым цветом. Я почти не видел Тасуринчи и его семью в этой пыли. Все было серо. «Происходит что-то ужасное, и мы не знаем — что, — говорил Тасуринчи в страхе. — Может, это конец идущего народа? Настало время нам уходить, наверное. Солнце упало. И больше не поднимется, выходит».

Я знаю, что солнце не упало. Если бы упало, мы сейчас здесь бы не сидели. Тучи пыли рассеялись, небо расчистилось, и земля наконец утихомирилась. Тошнотворно пахло рассолом и гнилыми растениями. Мир был недоволен, наверное. «Видишь, я не врала, видишь, земля тряслась. Поэтому река сожрала курицу», — говорила жена Тасуринчи. Но он все твердил свое: «Неправда!» Злился. «Ты соврала! — кричал своей жене. — Поэтому, наверное, и земля затряслась!» И снова начал ее бить, аж надулся от злости, аж рычал. Тасуринчи с реки Тимпия очень упрямый человек. У него не впервые такая злость. Я и раньше его таким видел. Поэтому, наверное, его мало кто навещает. Он не признал свою ошибку, но я понял, да и любой бы понял, что его жена говорила правду.

Мы поели, легли отдыхать на циновках, и вскоре, задолго до рассвета, я услышал, что он встает. Вижу, сел на камень, в нескольких шагах от хижины. Тасуринчи сидел в свете луны, задумавшись. Я встал в полумраке и пошел с ним побеседовать. Он молол табак, чтобы вдыхать. Ссыпал табачную пыль в полую косточку пукакунги и попросил меня задуть. Я приставил косточку к его ноздре и дунул. Он сильно, жадно вдохнул, закрыв глаза. Я дунул в другую ноздрю. Оставшимся табаком уже он дунул мне в нос. Тасуринчи было неспокойно. Что-то его мучило. «Я не могу спать, — говорил он голосом очень усталого человека. — Случилось два события, о которых нельзя не задуматься. Река украла одну из моих куриц, а земля задрожала. Да и небо потемнело. Что мне делать?» Я не знал, я был в таком же смятении, как он. Почему ты спрашиваешь у меня, Тасуринчи? «Если эти два события произошли так близко друг от друга, почти в одно время, это значит, я должен что-то сделать, — сказал он. — Но я не знаю что. Здесь и спросить-то не у кого. Серипигари живет во многих лунах отсюда вверх по Сепауа».

Тасуринчи весь день сидел на камне и ни с кем не разговаривал. Не пил, не ел. Когда его жена принесла ему давленые бананы, он даже не под-

пустил ее, издали погрозился, что опять побьет. Ночью не пошел в хижину. Кашири ярко сиял в небе, а Тасуринчи сидел неподвижно, уронив голову на грудь, силясь понять свои несчастья. Что ему полагалось делать? Кто знает. Вся семья помалкивала, тревожилась, даже маленькие дети. Беспокойно, нетерпеливо подсматривали за ним. «Что-то будет?» — думали.

Где-то в полдень Тасуринчи с реки Тимпия поднялся с камня. Быстрым шагом подошел к хижине. Мы увидели, как он подзывает нас обеими руками. Лицо у него было решительное, кажется.

«Мы пускаемся в путь, — сказал он веско, повелительно. — В путь. Прямо сейчас. Нужно уйти далеко отсюда. Вот что это значит. Если мы останемся, будет вред, будут бедствия. Это послание. Наконец-то я понял. Это место сыто нами по горло. Нам нужно уйти, получается».

Наверное, ему было очень трудно решиться. По лицам женщин, мужчин, по печали его родичей видно было, как им тяжело уходить. Они уже давно жили на реке Тимпия. Покупали всякое с урожая, который продавали Белым Отцам с Сепауа. Выглядели довольными, наверное. Может, они нашли свою судьбу? Кажется, нет. Или начали портиться оттого, что слишком долго

оставались на месте? Кто знает. Наверное, это большая жертва — вот так вдруг все оставить, не зная, куда пойдешь, не зная, обретешь ли вновь то, что у тебя было раньше. Это всякому больно, получается.

Но никто в семье не возражал. Ни жена, ни дети, ни юноша, который жил неподалеку, потому что хотел жениться на старшей дочери Тасуринчи, не жаловались. Большие и маленькие немедленно стали собираться. «Быстро, быстро, нужно уходить, это место стало нашим врагом», — торопил их Тасуринчи. Заметно было, что он настроился, что ему не терпится уйти. «Да, скорее, пошли, пошли, давайте сбежим отсюда», — говорили все, суетились и толкались.

Я помог им собраться и тоже пошел с ними. Сперва мы сожгли обе хижины и все, что нельзя было унести с собой. Как будто кто-то умер. «Здесь остается все нечистое из нас», — заверил Тасуринчи свою семью. Мы шли несколько лун. Еды было мало. Звери не попадались в капканы. Наконец в одной лагуне мы наловили сомов. Поели. Вечером сели поговорить. Всю ночь я им рассказывал, должно быть.

«Теперь мне спокойнее, — сказал мне Тасуринчи через несколько лун, когда я с ними

прощался. — Больше, думаю, я не буду злиться. В последнее время много злился. А теперь, наверное, не буду. Я правильно сделал, что пошел, кажется. Я это чувствую здесь, в груди». «Как ты понял, что нужно оттуда уходить?» — спросил я. «Вспомнил кое-что, что знал с рождения, — ответил он. — А может, выучился этому во время дурмана. Если с землей случается вред — значит, люди не думают о ней, не заботятся как положено. Разве земля может говорить, как мы? Чтобы сказать, что она хочет, ей приходится что-то делать. Дрожать, наверное. Не забывайте про меня, говорит. Я тоже живая, говорит. Я не хочу, чтобы со мной плохо обращались. На это она, наверное, и жаловалась, пока плясала. Может, я слишком сильно заставил ее потеть. Может, Белые Отцы — не те, кем кажутся, а камагарини, союзники Киентибакори, и они хотели принести вред земле, потому и советовали мне оставаться на одном месте. Кто знает. Но если она пожаловалась, мне что-то нужно было делать. Как мы помогаем солнцу, рекам? Как мы помогаем этому миру, всему живущему? Идем. Думаю, я выполнил долг. И видишь, это уже заметно. Послушай почву под ногами, потопай хорошенько, говоритель. Какая она спокойная и прочная! Наверное, она

обрадовалась, когда снова почувствовала, что мы ступаем по ней».

Где сейчас Тасуринчи? Я не знаю. Может, остался в тех краях, где мы с ним распрощались. Кто знает. Когда-нибудь узнаю. Наверное, у него все хорошо. Он доволен. Он идет, наверное.

Так, по крайней мере, я узнал.

Отделившись от Тасуринчи, я развернулся и пошел к реке Тимпия. Я давно не навещал тамошних мачигенга. Но по пути со мной случилось много неожиданностей, и пришлось сменить направление. Поэтому я сейчас здесь с вами, наверное.

Перепрыгивая заросли крапивы, я вогнал себе в ногу шип[14]. Вот в эту. Высосал его и выплюнул. Но вред, видно, остался в теле, потому что скоро нога заболела. Сильно заболела. Я перестал идти и сел. Почему это произошло со мной? Я пошарил в сумке. Там все еще лежали травы, которые серипигари дал мне от змеиного укуса, от болезни, от всякого странного. А на лямке сумки висел камушек исерепито, который защищает от сглаза. И до сих пор висит. Почему же ни травы, ни

[14] Примечания: 14

Имеется в виду, скорее всего, растение Cnidoscolus urens, называемое также «амазонской крапивой». Его стебли действительно покрыты шипами.

исерепито не уберегли меня от бесенка крапивы? Нога у меня вся распухла, как будто не моя. Может, я начал превращаться в чудовище? Я развел костер и положил ногу у огня, чтобы вред вышел с потом. Было очень больно. Я рычал, желая спугнуть боль. Так рычал и потел, что уснул. И во сне слышал болтовню и смех попугаев.

Мне на много лун пришлось остаться в этом месте, пока опадала опухоль. Я пытался идти, и ай-ай, как же было больно! К счастью, еды мне хватало. В сумке у меня лежали маниок, маис и несколько бананов. К тому же удача была ко мне благосклонна. Прямо там, не вставая, только переползая с места на место, я воткнул в землю гибкую палочку, пригнул, а на конец привязал веревку с петлей и прикрыл листьями. Вскоре в силок попалась куропатка. Ее мне хватило на пару дней. Но это были мучительные дни — не из-за шипа, а из-за попугаев. Почему их там столько собралось? К чему такая слежка? Много стай расселось на ветках и кустах вокруг меня. Попугаи все прибывали и прибывали. И все смотрели на меня. Может, что-то случилось? Почему они так шумят? Может, их болтовня как-то связана со мной? Может, они обо мне говорят? Иногда они хохотали — попугаи умеют хохотать по-челове-

чьи. Может, они надо мной смеялись? «Никогда ты отсюда не выберешься, говоритель», — дразнились? Я швырял в них камни, чтобы спугнуть. Бесполезно. Они на минуту взлетали и тут же садились обратно. Целые стаи сидели у меня над головой. Чего они хотят? Что со мной будет?

И вдруг, на второй день, они улетели. Напугались и удрали попугаи. Все разом. Они вопили, роняли перья, сталкивались, как будто приближался враг. Учуяли опасность, кажется. Потому что вскоре надо мной, перепрыгивая с дерева на дерево, пронеслась говорящая обезьяна. Янири. Да, она самая, рыжая, большая и крикливая, янири. Это был самец, громадный, шумный, окруженный стаей самок. Они скакали вокруг него и размахивали лапами от радости, что они с ним. От радости, что они его женщины, наверное. «Янири! Янири! — закричал я. — Помоги мне! Разве раньше ты не был серипигари? Спустись, вылечи мою ногу, я хочу идти дальше». Но он не стал меня слушать. Это правда, что янири раньше был серипигари из идущих людей? Поэтому, наверное, на них нельзя охотиться и их нельзя есть. Говорят, когда варишь говорящую обезьяну, в воздухе начинает пахнуть табаком. Тем, что вдыхал и пил во время дурманов бывший серипигари.

Не успел янири со своей шайкой самок исчезнуть, как попугаи вернулись. И привели с собой новых. Я стал их рассматривать. Они были всякие-разные. Большие, маленькие, малюсенькие, с изогнутыми длиннющими клювами и короткими клювами. Ары, туканы и прочие. Но больше всего было аратинг. Они все трещали одновременно, громко, постоянно, у меня в ушах стоял попугайный гром. Я в тревоге смотрел на них. Медленно переводил взгляд с одних на других. Что они там делали? Что-то должно было случиться, несмотря на мои травы от всякого странного. «Что вы хотите? Что вы говорите? — кричал я им. — О чем вы болтаете? Над чем смеетесь?» Мне было страшно, но и любопытно. Я никогда не видел столько попугаев за раз. Это явно было неслучайно, не просто так они там собрались. В чем тогда причина? Кто мне их подослал?

Я вспомнил Тасуринчи, друга светлячков, и попытался вникнуть в болтовню попугаев. Если они сидят вокруг меня и так настойчиво что-то говорят, может, они за мной пришли? Что-то хотят до меня донести? Я закрывал глаза, вслушивался, сосредотачивался. Старался почувствовать себя попугаем, получается. Было трудно. Но от этих усилий я забывал про боль в ноге. Подражал

их воплям, их клекоту, их шепоту. Всем звукам. И мало-помалу, словечко за словечком, будто огоньки в темноте вспыхивали, я начал слышать. «Успокойся, Тасуринчи», «не бойся, говоритель», «никто не причинит тебе вреда». Я понимал, что они говорят, наверное. Не смейтесь, это мне не приснилось. Да-да, их разговоры. Я понимал все яснее и яснее. Мне стало спокойно. Тело прекратило дрожать. Холод ушел. Так, значит, их не подослал ко мне Киентибакори. И мачиканари не навел на меня порчу. Они здесь просто из любопытства? Чтобы составить мне компанию?

«Точно, Тасуринчи», — возвысился над другими один голос. Теперь сомнений не осталось. Он говорил, а я его понимал. «Мы прилетели побыть с тобой, подбадривать тебя, пока ты выздоравливаешь. И останемся здесь, пока ты снова не пойдешь. Почему ты испугался нас? У тебя стучали зубы, говоритель. Ты видел когда-нибудь, чтобы попугай съел мачигенга? А мы вот не одного мачигенга видели, который ел попугаев. Смейся, смейся, Тасуринчи. Мы давно за тобой летим. Куда ты, туда и мы. Ты только сейчас нас заметил?»

Я только тогда заметил. Дрожащим голосом я спросил: «Ты что, смеешься надо мной?» «Я

говорю правду, — обиделся попугай и забил крыльями так, что листья в разные стороны полетели. — Только вогнав шип в ногу, ты заметил наконец своих попутчиков, говоритель».

Мы долго беседовали, кажется. Все время, что я лежал там и ждал, когда пройдет вред, мы беседовали. Пока я держал ногу у костра, чтобы боль выходила с потом, мы говорили. И с этим попугаем, и с другими. Они постоянно перебивали друг дружку. Иногда я переставал понимать. «Замолчите, замолчите. Говорите медленнее и по очереди». Они не слушались. Вот точно так же, как вы. Чего вы смеетесь? Вылитые попугаи. Они тоже не дожидались, пока один договорит, и принимались кричать все разом. Были довольны, что мы наконец поняли друг друга. Толкались и махали крыльями. Я чувствовал облегчение. Был доволен. «Как необычайно то, что сейчас происходит!» — думал я.

«Ох, ну хорошо, что ты наконец понял, что мы говорители», — вдруг сказал один из них. И все остальные замолчали. В лесу сделалась большая тишина. «Хоть теперь ты поймешь, почему мы здесь, с тобой. Поймешь, почему с тех самых пор, как ты заново родился и начал идти и говорить, мы следуем за тобой. Днем и ночью, по лесам и

по рекам, получается. Ты ведь тоже говоритель, Тасуринчи? Разве мы с тобой не похожи?»

И тогда я вспомнил. У всякого идущего человека есть зверь, который за ним следует, разве не так? Даже если человек его не видит и не догадывается о его присутствии. В зависимости от того, что за человек, что он делает, мать зверя выбирает его и говорит своему детенышу: «Этот человек для тебя. Заботься о нем». И зверь превращается в его тень, кажется. Мой зверь — попугай? Да, так и есть. Он ведь говорящее животное. Как только я это понял, мне показалось, что я всю жизнь это знал. Почему иначе я всегда любил попугаев? Часто в моих странствиях я заслушивался их болтовней, забавлялся, глядя, как они бьют крыльями и галдят. Получается, мы родичи, наверное.

Когда я понял, что мое животное — попугай, это мне очень помогло. Теперь мне спокойнее в дороге. Мне никогда больше не будет одиноко, наверное. Если на меня навалится усталость, страх, злость из-за чего-то, я знаю, что делать. Нужно поднять глаза к деревьям и ждать. И никогда не прогадаешь. Словно дождик после жары, польется болтовня. Появятся попугаи. «Тут мы, тут, мы тебя не покинули», — скажут. Поэтому, наверное, у меня и получалось странствовать одному все

это время. Потому что я был не один, получается.

Когда я начал носить кушму, раскрашиваться уито и ачиоте, вдыхать носом табак и идти, многие удивлялись, что я странствую один. «Это безрассудство, — говорили они. — Разве в лесу не полно ужасных демонов и отвратительных дьяволиц, выдутых Киентибакори? Что ты будешь делать, если они выскочат тебе наперерез? Лучше странствуй, как мачигенга. Бери с собой мальчика и, по крайней мере, женщину. Они будут таскать твою добычу, будут вынимать ее из капканов. Ты не осквернишься, дотронувшись до трупа зверя, которого ты убил. К тому же тебе будет с кем поговорить. Да и отбиться от камагарини легче сообща. Где это видано, чтобы мачигенга ходил лесами один!» А я их не слушал, потому что никогда не чувствовал, что хожу один. Там, прячась в ветвях и листьях, глядя на меня зелеными глазищами, меня провожали мои товарищи. И я чувствовал их, хоть и не знал, что они там, наверное.

Но этот попугайчик у меня не поэтому. Это другая история, кажется. Он уснул, так что могу рассказать вам ее прямо сейчас. Если я вдруг замолчу или начну нести чушь, не думайте, что я потерял голову. Это просто будет значить, что

мой попугайчик проснулся. Он не любит эту историю, ему от нее так же больно, как мне было от шипа крапивы.

Это было после. Я шел на Кашириари навестить Тасуринчи, и в силок мне попался кракс. Я приготовил его и начал есть, как вдруг прямо рядом с моей головой раздалась болтовня. В ветвях, за большой паутиной, пряталось гнездо. Там лежал вот этот попугайчик, новорожденный. У него еще не открылись глаза, и он был покрыт белой слизью, как все детеныши, которые только что вылупились из яйца. Я застыл и стал наблюдать за ним, осторожно, чтобы попугаиха не подумала, что я слишком близко подобрался к ее птенцу, и не разозлилась. Но попугаиха не обращала на меня внимания. Она вся напыжилась и внимательно рассматривала своего детеныша. Как будто была чем-то недовольна. И вдруг она начала его клевать. Сильно клевать своим кривым клювом. Она хотела снять с него белую слизь? Нет. Она хотела его убить. Может, она была голодная? Я схватил ее за крылья, чтобы не извернулась и не клюнула меня, и оттащил от гнезда. Дал ей остатки кракса, чтобы успокоилась. Она с удовольствием их съела, болтая и маша крыльями. Но глаза у нее по-прежнему

были гневные. Покончив с краксом, она тут же взлетела обратно в гнездо. Смотрю, опять клюет попугаенка. Ты там не проснулся, попугайчик? Спи пока, дай мне дорассказать твою историю. Почему же она хотела убить своего детеныша? Точно не от голода. Я снова схватил ее за крылья и с силой швырнул в воздух. Она полетала вокруг и вернулась. Перечила мне, значит. Кричала в бешенстве и норовила долбануть меня клювом. Непременно хотела убить своего птенца.

И только тогда я понял — почему. Он родился не таким, как она ожидала, наверное. Одна лапка у него была кривая, и три пальца срослись вместе. До тех пор я не знал того, что знаете все вы: животные убивают детенышей, которые не похожи на остальных. Почему пума запускает коготь в своего хромого или одноглазого котенка? Почему ястреб рвет на куски птенца со сломанным крылом? Наверное, они догадываются, что жизнь у этих несовершенных детенышей будет трудная, они будут страдать, потому что не смогут защищаться, летать, охотиться, убегать от врага и выполнять свой долг. Они недолго проживут, потому что остальные звери скоро их сожрут. «Так уж лучше я его сожру, хоть наемся», — говорят они, наверное. Или, может, они, как мачигенга,

не принимают несовершенство? Тоже думают, что несовершенного детеныша выдул Киентибакори? Кто знает.

Вот откуда взялся мой попугайчик. Он всегда так сидит, пристроившись у меня на плече. Какое мне дело, что он нечистый, что лапка у него скрюченная, что он хромает и падает, как только взлетит? Потому что крылья у него тоже короче, чем нужно, кажется. Разве я совершенен? Мы похожи, поэтому понимаем друг друга и составляем друг другу компанию. Он путешествует на этом плече, а иногда для разнообразия карабкается через мою голову на другое плечо. Туда-сюда ходит и возвращается. Когда лезет вверх, то вцепляется мне в волосы. Сильно так дергает, будто говорит: «Смотри, а то упаду, будешь меня с земли подбирать». Он ничего не весит, я его и не чувствую даже. Спит он здесь, у меня в кушме. Раз уж я не могу называть его родичем, или отцом, или Тасуринчи, я придумал для него особое слово. Похоже, как попугаи кричат. Ну-ка, повторяйте за мной. Давайте его разбудим, давайте его позовем. Он его уже хорошо запомнил и научился повторять: Об-ра-зин-ка, Об-ра-зин-ка, Об-ра-зин-ка…

VIII

Флорентийцы слывут в Италии высокомерными; считается, что они ненавидят туристов, каждое лето наводняющих город амазонским потоком. Сейчас в это даже поверить трудно, потому что во Флоренции почти не осталось коренных жителей. Они постепенно разъехались, а жара тем временем усиливалась, вечерний ветерок стихал, воды Арно мелели, и городом завладевали комары. Их летучие мириады победоносно сопротивляются репеллентам и инсектицидам и днем и ночью осаждают своих жертв, особенно в музеях. Может, флорентийские zanzare[15] — тотемные животные, ангелы-покровители всех этих Леонардо, Челлини, Боттичелли, Филиппо Липпи, Фра Анджелико? Похоже, что так. Больше всего укусов я получил, именно любуясь статуями, фресками и картинами, и конечностям моим досталось от местных комаров ничуть не меньше, чем достается всякий раз в перуанской сельве.

Или же комары — это инструмент, которым отсутствующие флорентийцы отпугивают нена-

[15] Примечания: 15
Комары (*ит.*).

вистных вторженцев? В любом случае у них не очень-то получается. Ни гады, ни зной, ничто иное не способно поставить заслон на пути у туристических орд. Только ли полотна, дворцы, камни запутанного старого города так привлекают нас, иностранцев, в летней Флоренции, непригодной для жизни? Или к удушливому месту, откуда сбежали все жители, нас привязывает его прошлое: сочетание фанатизма и избыточности, истовой веры и жесткости, духовности и утонченной чувственности, политического произвола и смелой мысли?

В течение двух этих месяцев все постепенно закрывалось: магазины, прачечные, неудобная Национальная библиотека у реки, кинотеатры, где я находил приют по вечерам и, наконец, кафе, где я читал Данте и Макиавелли и думал об Образинке и о мачигенга из верховий Урубамбы и Мадре-де-Дьос. Первым закрылось кокетливое кафе «Строцци», обставленное и декорированное в стиле ар-деко и снабженное кондиционерами, — истинный оазис в жаркую послеполуденную пору; потом кафе «Пашковски», где, хоть и обливаясь потом, можно было укрыться на старомодном втором этаже, в кожаных креслах у кроваво-красных бархатных

портьер; после этого закрылось кафе «Джильо» и, наконец, самое популярное у туристов, всегда забитое под завязку кафе «Ривуар» на Пьяцца-делла-Синьория, где один макьято обходился мне, как целый ужин в траттории возле дома. Читать или писать в джелатерии или пиццерии (единственные оплоты гостеприимства, по-прежнему открытые) решительно невозможно, поэтому пришлось смириться и сидеть в пансионе на Борго-Санти-Апостоли, исходить потом и вглядываться в тексты под прогорклым светом лампы, которую будто нарочно придумали, чтобы затруднять чтение или карать настырного читателя скорой слепотой. Эти неудобства, как сказал бы злополучный насельник монастыря Сан-Марко (одним из неожиданных последствий моего пребывания во Флоренции стало совершённое благодаря биографу Роберто Ридольфи новое открытие Савонаролы: оказалось, что одиозный Джироламо был персонажем интересным и уж точно не хуже тех, кто его сжег), благоприятствуют душевному настрою для лучшего понимания, точнее, проживания мучений Данте в его адском паломничестве или спокойных, как и положено, размышлений об ужасающих выводах в отношении города, его населения и управления, к

которым пришел, основываясь на собственном чиновничьем опыте, Макиавелли, хладнокровный созерцатель истории.

И, разумеется, закрылась маленькая галерея на улице Санта-Маргерита, из чьей витрины, втиснутые между оптикой и продуктовой лавочкой, смотрели на так называемую церковь Данте мачигенга с фотографий Габриеле Мальфатти. Но до летнего chiusura[16] я успел еще несколько раз сходить туда. Завидев меня в третий раз, худенькая девушка в очках, заправлявшая галереей, вдруг сообщила мне, что у нее есть fidanzato[17]. Пришлось на ломаном итальянском объяснять, что в моем интересе к выставке нет никакого подвоха, он, скорее, патриотический и не имеет отношения к ее красоте — только к фотографиям Мальфатти. Но она так до конца и не поверила, что я провожу столько времени за рассматриванием этих снимков из чистой ностальгии. И почему я всегда застреваю перед тем, на котором группа индейцев сидит в позе, похожей на позу лотоса, и в упоении слушает энергично жестикулирующего человека? Подозреваю, ее

[16] Примечания: 16
Закрытия (*ит.*).

[17] Примечания: 17
Жених (*ит.*).

не убеждали мои доводы, мол, эта фотография — настоящий шедевр, который нужно смаковать неспешно, как «Весну» или «Битву при Сан-Романо» в Уффици. Но после четвертого или пятого моего визита в пустынную галерею девушка, кажется, чуть-чуть снизила градус бдительности и однажды даже проявила дружелюбие, сообщив, что у церкви Сан-Лоренцо каждый вечер играет перуанскую музыку на традиционных инструментах «ансамбль инков»: почему бы мне не сходить послушать их и не унять таким образом тоску по родине? (Я внял ее совету и сходил: инки оказались квартетом из двух боливийцев и двух португальцев — все они приехали из Рима и теперь исполняли невообразимую смесь фаду и санта-крусских карнавалито). Неделю назад галерея на улице Санта-Маргерита закрылась, и худышка в очках отправилась на каникулы в Анкону, к своим genitori[18].

Но мне и не нужно больше смотреть на эту фотографию. Я выучил ее наизусть, во всех подробностях, каждый миллиметр. И столько о ней думал, что, как ни странно, обнаженные сидящие фигуры с густыми гладкими волосами, силуэт

---

[18] Примечания: 18
Родителям (*ит.*).

говорящего, кроны деревьев с толстыми стволами и переплетенными ветвями на горизонте под морем пузатых серых туч станут моим главным воспоминанием из флорентийского лета. Может, более долговечным и ярким, чем архитектурные и изобразительные чудеса Ренессанса, гармоничный рокот Дантовых терцин и непроходимые ритурнели (за которыми безошибочно проглядывает дьявольский ум) прозы Макиавелли.

Я уверен, что на фотографии — говоритель мачигенга. Это единственное, что не вызывает у меня никаких сомнений. Человек вещает перед завороженной аудиторией — кто это еще может быть, если не тот, на кого издревле возложен труд разжигать любопытство, фантазию, память, охоту к мечте и к выдумке у народа мачигенга? Как Габриеле Мальфатти удалось попасть на этот сеанс и как ему позволили фотографировать? Может, причина, по которой современных говорителей окружали такой тайной — чужак, превратившийся в мачигенга, — уже перестала существовать к тому времени, как итальянец добрался в их края? А может, в последние годы в верховьях Урубамбы все так быстро менялось, что говорители не выполняют более свою вековую функцию, утратили аутентичность и стали,

подобно церемониям с аяуаской и целительным ритуалам шаманов из других племен, просто пантомимой для туристов.

Но я сомневаюсь. Да, жизнь в тех местах теперь совсем другая — но не то чтобы благоприятная для роста туристических потоков. Сначала там устроили нефтяные скважины и наняли туда чернорабочими многих кампа, яминава, пиро и наверняка мачигенга тоже. Потом — или одновременно со скважинами — в Амазонии возник наркотрафик, распространился, как библейская чума: сеть незаконных плантаций коки, лабораторий, аэродромов, а с ними и периодические кровавые расправы, сведение счетов между конкурирующими колумбийскими и перуанскими бандами, выжигание посевов, прочесывание местности, полицейские захваты. Чуть позже — или тоже одновременно, замыкая треугольник ужаса, — терроризм и борьба с ним. Отряды повстанцев «Сендеро Луминосо», жестко подавляемые в Андах, спустились в сельву и действуют в этой части Амазонии — которую, соответственно, время от времени зачищает армия и даже, говорят, бомбит авиация.

Как все это могло повлиять на народ мачигенга? Ускорило ли его распад, размыло ли его оконча-

тельно? Существуют ли до сих пор селения, где их начали собирать пять или шесть лет назад? Они совершенно точно подпали под неотразимый, смущающий умы механизм противоречивой цивилизации, представленной хорошими зарплатами в «Шелл» и «Петроперу», ворохами кокаиновых долларов, риском быть втянутыми в кровопролитную войну между наркоторговцами, герильеро, полицией и военными, не понимая при этом даже слов, обозначающих ее причины. Точно так же, как когда к ним вторгались войска инков, испанские первопроходцы, конкистадоры, миссионеры, торговцы каучуком и древесиной, золотоискатели и переселенцы с гор в XX веке. Для мачигенга история не идет ни вперед, ни назад: она кружит на месте, повторяется. И все же, хоть община и сильно пострадала в связи с потрясениями последних лет, есть вероятность, что многие мачигенга вняли всегдашнему рефлексу выживания: снялись с места. Пустились в путь, как в самом стойком из их мифов.

Идет ли вместе с ними — короткими лапчатыми шажками, наступая всей ступней разом, типичной для амазонских племен походкой — бывший мой друг, бывший еврей, бывший белый, бывший представитель западной цивилизации

Сауль Суратас? Я решил: пусть говорителем с фотографии Габриеле Мальфатти будет он. Объективно мне никак этого не выяснить. У стоящей фигуры лицо будто бы затенено — именно справа, где у него было пятно, — и это могло бы дать мне ключ к разгадке. Но с такого расстояния легко ошибиться, не распознать обычную тень (композиция выстроена так, что свет закатного солнца льется с противоположной стороны, и в общем вся правая часть снимка — люди, деревья, облака — темнее). Не исключено, что более веской уликой может служить строение тела. Даже издалека совершенно понятно, что это не типичная фигура амазонского индейца, низкорослого, коротконогого, с расходящимися коленями и широкой грудной клеткой. У того, кто говорит, тело длинное, а кожа, я мог бы поклясться, гораздо светлее, чем у слушающих, — он раздет до пояса. Но подстрижен он как все мачигенга: под горшок, точнее, волосы лежат, будто круглый средневековый капюшон. Еще я решил, что неясное очертание на левом плече говорителя с фотографии — это попугайчик. А как еще должен ходить по лесам говоритель, если не с тотемным попугаем, товарищем и помощником?

Если долго сидеть и перебирать, кусочки мо-

заики складываются. Выстраиваются в более или менее связную историю, при условии, что мы придерживаемся исключительно фабулы и не задаемся целью найти то, что Луис де Леон называл «общей жизни тайная причина»[19].

Во время первой поездки в Кильябамбу, к дяде — мелкому землевладельцу, Образинка вступил в контакт с миром, который его заинтриговал и привлек. По-видимому, первоначальное интеллектуальное любопытство, симпатия, дружелюбный интерес к укладу и бытию мачигенга постепенно, по мере того, как он узнавал их ближе, учил их язык, вникал в их историю и проводил с ними все более и более долгие периоды времени, привели к обращению — в культурном и религиозном смысле, — к отождествлению с обычаями и традициями, в которых — я догадываюсь, по каким причинам, но не могу понять их до конца — Сауль нашел духовную пищу, стимул, дело жизни, смысл, каких не находил среди других перуанских племен (евреев, христиан, марксистов), составлявших его окружение раньше.

Я думаю, что преображение это было очень

---

[19] Примечания: 19

Фрагмент из оды «Фелипе Руису» (ок. 1578) приводится в переводе Бориса Дубина.

медленным и происходило бессознательно все годы, пока он изучал этнологию в Сан-Марко-се. И мне понятно, что он мог разочароваться в учебе, увидеть в науке этнологии угрозу для примитивной архаической культуры (он уже тогда бы отверг эти прилагательные), вторжение разрушительной современности, подмену. Идея равновесия между человеком и природой, осознание надругательства над окружающей средой со стороны промышленной культуры и современных технологий, переоценка первобытной философии уважения к месту обитания ради выживания — все это в те годы если и не стало еще интеллектуальной модой, то во всяком случае уже начало пускать корни, в том числе в Перу. Образинка, надо думать, переживал это особенно глубоко, поскольку своими глазами видел, как губят сельву цивилизованные люди и, наоборот, в какой гармонии с природным миром живут мачигенга.

К решающему шагу его, безусловно, подтолкнула кончина дона Соломона, единственного человека, к которому он был привязан и перед которым чувствовал необходимость отчитываться. Судя по тому, как изменилось его поведение на втором-третьем курсе университета, вполне

вероятно, что он уже тогда решил бросить все и уехать в верховья Урубамбы сразу после смерти отца. До этого момента в его истории нет ничего необычного. В 60-е и 70-е — годы студенческого протеста против морали потребления — многие молодые люди из среднего класса покинули Лиму, подстегиваемые жаждой приключений и отвращением к столичной жизни, уехали в горы или в сельву и зажили там подчас в очень скромных условиях. Один из выпусков «Вавилонской башни» — к несчастью, сильно пострадавший от хронических аномалий камеры Алехандро Переса — был посвящен как раз группе молодых лимцев, которые переехали в департамент Куско и зарабатывали там разными живописными ремеслами. Неудивительно было бы, если бы Образинка просто презрел буржуазное будущее и отправился в Амазонию на поиски приключений, припал к истокам, к первобытному началу.

Но он уехал не так, как они. Он уничтожил все следы своего истинного отъезда и намерений, создав у знакомых впечатление, будто отправляется в Израиль. Зачем иначе ему потребовалось это алиби с алией, если Сауль Суратас не решил безвозвратно сменить кожу, имя, привычки, традиции, бога, все, чем он был прежде? Совершенно

очевидно, что он уехал из Лимы, чтобы никогда туда не возвращаться и навсегда стать другим человеком.

До этой минуты, хоть и прилагая некоторые усилия, я успеваю за ним. Я (как и его отец) полагаю, что он отождествил себя с маленьким странствующим амазонским сообществом во многом потому, что был евреем, членом также странствующего сообщества, презираемого на протяжении всей истории другими сообществами, среди которых они, как мачигенга в Перу, жили, но не смешивались с ними и не были ими приняты. Свою роль наверняка сыграло (как шутя намекал в те годы я) и огромное родимое пятно, делавшее его изгоем среди изгоев, человеком, чья судьба навечно отмечена печатью уродства. И я могу допустить, что среди людей, поклоняющихся духам дерева и грома, проводящих ритуалы с помощью табака и отвара аяуаски, Образинка чувствовал себя более принятым — растворенным в коллективной сущности, — чем среди соотечественников-иудеев или христиан. Каким-то очень личным, очень тонким образом, уйдя в верховья Урубамбы и родившись там заново, Сауль совершил свою алию.

Но вот на следующем этапе — этапе перехода из

состояния обращенного в состояние говорителя — мне уже не удается следовать за ним, и меня бесконечно огорчает непреодолимость расстояния между нами, мое бессилие. Конечно же, именно этот переход больше всего трогает меня в истории Сауля, заставляет думать о ней постоянно, в тысячный раз распутывать ее и снова запутывать; именно он вынудил меня записать его историю в надежде, что так я избавлюсь от наваждения.

Потому что, если прежние шаги Сауля были неправдоподобны, то превращение в говорителя — шаг невозможный. Сложно вообразить, что кто-то отступает во времени назад, от брюк и галстука к набедренной повязке и татуировкам, от испанского языка к скрипучему шелестению мачигенга, от рационального мышления к магии, от монотеистической религии и западного агностицизма к язычеству и анимизму — сложно, но можно, если приложить усилие. А вот превращение в говорителя погружает меня во мрак, и сколько я ни стараюсь продырявить его, он только сгущается.

Ведь говорить, как говорит говоритель, — значит прочувствовать эту культуру до самой ее глубины, вжиться, проникнуть в самую ее суть, в

костный мозг ее истории и мифологии, на телесном уровне впитать ее вековые табу, рефлексы, чаяния и страхи. Это значит в самом серьезном смысле стать коренным мачигенга, еще одним из древнего народа, который во времена, когда эта самая Флоренция, где я сижу и пишу, фонтанировала ослепительными идеями, образами, зданиями, преступлениями и интригами, уже бродил по лесам моей страны и переносил с места на место истории, выдумки, сказания, слухи и анекдоты — все то, что делает разрозненных существ сообществом и поддерживает среди них чувство единения, чувство, что они друг другу братья, что они одно целое. Мой друг Сауль Суратас отказался от всего, чем был и мог бы стать, ради того, чтобы больше двадцати лет шагать по амазонской сельве и вопреки всему — в первую очередь, вопреки самим понятиям современности и прогресса — продлевать невидимый род странствующих рассказчиков историй. Время от времени я вспоминаю об этом, и тогда, как в день, когда я узнал об этом впервые, в прошитой звездами темноте вокруг селения Новый Свет, мое сердце выскакивает из груди с такой силой, как никогда не выскакивало от страха или от любви.

Стемнело, и флорентийская ночь тоже полна

звезд, хоть и не таких ярких, как в сельве. Я чувствую, что у меня вот-вот закончатся чернила (разумеется, все магазины, где я мог бы купить сменный стержень для моей ручки, закрыты на chiusura estiva[20]). Жарко невыносимо; моя комната в пансионе «Алехандра» кишит комарами, они пищат и кружатся вокруг моей головы. Я мог бы принять душ и выйти прогуляться, развеяться. Может, на Лунгарно дует ветерок, а если пройти ее до конца, то неизменно прекрасное зрелище подсвеченных набережных, мостов и дворцов сменится куда более забористым видом парка Кашине, где днем чинно гуляют синьоры с детьми, а в этот час собираются проститутки, извращенцы и дилеры. Я мог бы затеряться среди молодежи на Пьяцца-Санто-Спирито, в угаре музыки и травы, или пойти на Пьяцца-делла-Синьория, она сейчас как пестрый Двор чудес, где одновременно разворачивается четыре, пять, иногда десять представлений: карибские оркестры с маракасами и конгами, турецкие акробаты, марокканские огнеглотатели, испанская туна, французские мимы, американские джазмены, цыганки-гадалки, немецкие гитаристы, венгер-

[20] Примечания: 20
Летние каникулы (*ит.*).

ские флейтисты. Приятно бывает заблудиться в этой разношерстной юной толпе. Но сегодня вечером, куда бы я ни пошел, все будет впустую. Я знаю, что на охряных каменных мостах над Арно, под кронами терпимости в парке Кашине, под дюжим Нептуном в фонтане, под загаженным голубями бронзовым Персеем Челлини, везде, куда бы я ни приткнулся, стараясь унять жару, комаров, непокой в сердце, везде я буду слышать, как в самое ухо мне непрерывно, незапамятно, скрипуче шелестит говоритель мачигенга.

Флоренция, июль 1985 года

Лондон, 13 мая 1987 года

Признательность

Как и все, что я написал, этот роман многим обязан вольной или невольной помощи самых разных организаций и людей. Я хочу упомянуть здесь Летний институт лингвистики, доминиканскую миссию на Урубамбе и ЦИРА (Центр изучения и развития Амазонии) и поблагодарить за гостеприимство, которое они оказали мне в сельве; а также Висенте де Шишло и Луиса Романа, лучших попутчиков в Амазонии, и падре Хоакина Барриалеса, монаха Доминиканского ордена, собирателя и переводчика многих песен и мифов мачигенга, вошедших в мою книгу.